



Часть первая

1.

Это был узкий деревянный ящик, кое-как сколоченный столяром, у которого нет мастерской, — просто-напросто желоб из трех длинных дощечек, перегороденный с двух концов четвертой и пятой. Из этого необструганного, грязного ящика бахромой торчали обтрепанные карточки. Зденек перебирал их пальцами, как бродячий музыкант перебирает струны своего инструмента. Прижав к груди конец ящика, Зденек быстро листал лохматую картотеку, которая так верно отражала жизнь лагеря, нет, которая была самой этой жизнью!

Пачка бумажек в ящике была подобна столбику ртути в градуснике — иногда она быстро росла, и это означало лихорадку: куда же мы распихаем всех этих новичков? Но еще хуже было, когда люди сотнями умирали и столбик опять стремительно сокращался. Тогда Зденек вынимал листки, перечеркивал их, составлял по ним суточную «мертвую сводку» и старался не думать о том, долго ли еще его собственная карточка останется в спасительном прибежище неказистого ящика.

Каким чувствительным и каким важным был этот бумажный «столбик термометра» — последний документ трех тысяч человек, загнанных за колючую проволоку, лишенных привычной гражданской одежды, в которой так много удобных карманов для всяких бумаг! Печь Освенцима лишила этих людей всех прикрас, обнажила их и выпустила три тысячи нагих тел, темных от грязи, без обычных лохмотьев, без колец и даже без единого волоска на теле, который мог бы напомнить о прошлом [16] и словно окутал бы эти нагие тела покровом воспоминаний.

Девять человек из десяти — братья, жены, отцы — сгорели вместе со всем, что обычно украшает человека. Десятого, измученного и опустошенного, выпустили из печи живым. Ему бросили полосатые лохмотья — прикрыть свою наготу, втолкнули в вагон для скота и — без воды и без пищи, как не возят и скот, потому что жизнь скота имеет цену, — везли сутки и еще сутки на другой конец Германии, чтобы он умер именно там.

И вот тяжелые засовы отодвинуты, с грохотом открылись двери, свежий ночной воздух проник в нестерпимую духоту вагонов. Обессиленные узники, словно кули, вываливались на платформу, падали на землю, вставали, выпрямлялись, переминались с ноги на ногу и ждали, когда же их погонят куда-то. Выпучив

болевшие глаза, они искали название станции — надо же знать, где мы.

Невдалеке виднелось здание вокзала со светящейся надписью «Гиглинг». Что это за Гиглинг, такое веселенькое слово? Последняя остановка поезда была у разбомбленного вокзала, где-то на окраине Мюнхена, и узники, прижатые к решетчатым оконцам в темном вагоне, сообщили об этом товарищам. Всем было ясно, что их везут в Дахау, и вот какой-то Гиглинг. Хорошо это или худо?

Узники, словно погорельцы, стояли на эстакаде товарной станции и растерянно смотрели в осеннее небо, усыпанное мириадами звезд. Наверное, мы в Альпах, ведь здесь уже начинаются Альпы...

Темнота вдруг ожила от топота марширующих ног, послышалась песня. Зденеку хотелось во что бы то ни стало разобрать слова. Уловив наконец повторяющийся припев, он понурил голову. Встречая партию заключенных, солдаты вышагивали «раз, два» и пели громко и неумолимо:

«Der Jud zieht hin und her,
er zieht durchs Rote Meer,
die Wellen schlagen zu,
die Welt hat Ruh...»

Еврей бродит и там и здесь,
Он пересекает Красное море,
Волны смыкаются,
И мир избавился от еврея... [17]

Так оно и есть. История давно ждала этой немецкой поправки: море сомкнулось над убегающими иудеями, поглотило их и не тронуло преследователей-египтян. Только так все это и могло кончиться, чтобы мир мог беззаботно смеяться.

Солдаты промаршировали на эстакаду, обменялись приветствием с усталым освенцимским конвоем и приняли от него заключенных. Раздавалась резкая команда, ладони хлопали о приклады, винтовки были сброшены с плеч. Новый конвой состоял из пожилых усатых немцев-солдат «ваффен СС», говоривших на медлительном баварском наречии. Но нашлось и несколько бравых молодчиков, которые тотчас стали орудовать прикладами, выравнивая ряды: «Ну, будет наконец порядок, вы, сволочи?..»

В ту ночь бумажный столбик в градуснике картотеки лихорадочно рос и впервые достиг цифры 1500. Лагерь «Гиглинг 3», все еще не достроенный, располагавший лишь тридцатью землянками за оградой из колючей проволоки, набитый до отказа, кишел, как муравейник. Зденек тогда еще не сидел за картотекой в конторе. Он был среди тех, кто тащился со станции в лагерь, с трудом преодолевая четыре бесконечных километра; многие узники так ослабели от голода и жажды, что едва передвигали ноги. Винтовки конвоя, шагавшего рядом с колонной, уже не пугали измученных людей. «Куда мы идем? — спрашивали заключенные солдат, лица которых не были жестоки и суровы и которые не ругались, как остальные. — В плохой или хороший лагерь? Есть там заграждение с электрическим током? Есть крематорий и газовые камеры?»

За ящиком с картотекой, тогда еще чистым, новехоньким и даже пахнувшим смолой, сидел той ночью сам глава конторы Эрих Фрош, великий писарь, достойный многотысячного лагеря, а не делопроизводства смехотворно

малочисленной команды, которая доселе жила «Гиглинге 3». Ауфбаукоманда — строительная команда, сплошь старые, выдавшие виды узники, эвакуированные из Варшавы, — неделями ютилась на голом глинистом участке посреди леса и строила лагерь: сперва четыре добротных барака для эсэсовцев, чуть подалее — шесть сторожевых вышек над прямоугольником двойного проволочного ограждения, через которое пропущен ток, и [18] внутри — тридцать мерзких барачков для заключенных. Среди «стариков» уже утихла драчка за места старосты лагеря, блоктовых и капо; наконец-то настает час, когда в ящике писаря зашуршат тысячи новых карточек.

Обилие карточек даст писарю уверенность в себе, доходы и утешения. Ибо, в самом деле, что такое писарь стройкоманды? Первый среди равных в компании ста пятидесяти прожженных хефтлинков, норовистых ребят, которых не так-то легко обделит жратвой, — каждый из них готов замахнуться киркой на нарушителя его прав. Обирать им некого, вот они и грызутся между собой, как волки, а кругом чертова уйма работы, от которой никуда не уйдешь: лагерь должен быть построен, хоть лопни!

В стройкоманде постоянно были нелады, озлобление, козни. Теперь всему этому конец. Теперь в лагере есть полторы тысячи новичков, три тысячи рабочих рук, а это значит — полторы тысячи пайков, которыми насытятся и старые «волки». Они получают подданных и станут господами. Ну а господам живется ведь совсем иначе: они не чужды и потех, и любви... Господином среди господ будет писарь Эрих Фрош. Так же как в Варшаве, как прежде в Освенциме, Буне и в других местах. «Волкам» понадобятся всякие поблажки от главного писаря: им захочется отлынивать от работы, они постоянно будут просить пополнения взамен умерших и за это приносить писарю разные вещи. Сигареты, жратву, золото. Будет весело. И все это благодаря тому, что заполнилась картотека...

Узники приходят со станции, строясь в сотни на апельплаце {2}. Прожекторы со сторожевых вышек ярко освещают их. Эсэсовский конвой остался за оградой лагеря, и «волки»-старожилы сами принимают новичков. С карандашом и бумагой в руке они бегают вокруг стада и поспешно записывают имена, заставляя тупых новичков произносить их по буквам. Среди «волков» кого только не встретишь — есть даже греки и турки; некоторые плохо знают латинский алфавит. А у новичков такие заковыристые имена: Мошек Грюнцвейг, Ольджих Елинек, Янош Жолнаи. И писарь, несмотря на свое радостное возбуждение, бранится на чем свет стоит, когда кто-нибудь из его приспешников приносит ему листок с еще одной сотней перевранных фамилий. [19] — Полюбуйся, Фредо, чего твои грамотеи опять наворотили! — сердито хрипит он, обращаясь к самому толковому из греков, который будет арбейтдинстом, кем-то вроде производителя работ, а пока помогает писарю разносить фамилии по карточкам. Этим же занят глава группы снабжения француз Гастон. Но оба они достаточно неловки в таком деле, и писарь нетерпеливо оглядывается, скоро ли они подадут ему следующую карточку. Он пыхтит, дыхание у него учащается, красный шрам на шее — след операции, навсегда сделавшей его голос хриплым, — становится еще темнее.

— Поторапливайтесь! — хрипит он. — Пока мы не кончим, нельзя впускать в бараки, а на апельплаце уже четверо мертвых.

— Будет и больше, — утешает его капо Карльхен, который только что зашел в

контору; в руке у него, как всегда, увесистая дубинка. — Из полутора тысяч их передохнет еще немало...

Нетерпеливый писарь хлопает кулаком по столу.

— Не учи меня! Это как-никак живой транспорт из Освенцима, трижды отсеянный. Они должны быть здоровы, как быки. Если кто-нибудь из вас, старых хефтлинков, придет доложить мне, что у него помер избитый новичок, я буду считать его убийцей и собственноручно подам на него рапорт в комендатуру, не будь я Фрош!

— Я и не знал, что у тебя такое простое имя {3}, — неосторожно огрызнулся Карльхен. — Разве тебя не величали всегда Фрош Великий?

Писарь быстро выпрямился.

— Заткнись! — крикнул он, побагровев. — Ты-то как раз один из таких убийц. Но тут тебе не лагерь истребления, тут будут работать и... Изволь-ка отложить свою палку! И если ты еще раз позволишь себе какие-нибудь шуточки по поводу моего имени... Это относится ко всем; какой же у нас будет авторитет в глазах новичков, если мы не ладим между собой? Я писарь лагеря! И я крепко разделаюсь с тем, кто будет подрывать мой престиж! Понятно?

Карльхен кашлянул и незаметно поставил дубинку в угол. [20]

— Ты ведь сам был блоковым в Освенциме и знаешь... — укоризненно сказал он.

— Я никогда не брал палки в руки, — захрипел писарь и нетерпеливо повернулся к новой сотне карточек, вовремя подsunутой хитрым греком Фредо. — Я умел обходиться без побоев! Я мог себе это позволить, — пробормотал он почти благодушно, потому что ящик все пополнялся и пополнялся.

* * *

На дворе была холодная ночь. Прибывшие тщетно надеялись, что им дадут поесть. Кто-то из них подсчитал, что в последний раз им выдали хлеб 56 часов назад, еще в Освенциме. Большинство озябших, отчаявшихся новичков покорно легли на землю.

После «волков» около них появились «шакалы»: человек с нарукавной повязкой санитаря обходил ряды и говорил: «Кто продаст хорошие ботинки? Даю похлебку и горячую картошку».

Вот до чего прожились и поизносились «старички» на стройке лагеря; новой одежды и обуви взять было негде, и теперь им годились даже те обноски, что выдали новичкам в Освенциме. Но гораздо важнее было то, что вместе с этими обносками в Гиглинг прибыли десятки умелых рук, которые смогут перешить старое тряпье и превратить опорки в сносную обувь. «Шакалы» и «волки» ходили по рядам и выискивали себе придворных портных и сапожников, ибо каждый господин хотел теперь иметь слуг. «Что ты умеешь делать?»-задавали они строгий вопрос каждому новичку.

Мошек Грюнцвейг говорит, что он портной, — ладно, посмотрим. Ольджих Елинек заявляет, что у него была фабрика готового платья в Простейове. Сам он, конечно, шить не умеет, только бахвалится, дохлятина! Дать ему пинка под зад! Янош Жолнаи признается, что учился сапожному ремеслу. Ага, в Будапеште всегда были отличные сапожники, это стоящее дело! Но Янош тут же гордо добавляет, что

ремеслом не занимался, а торговал ортопедическими рентгеновскими аппаратами. Осел!

Психология старожилов и новичков совершенно различна, их словно разделяет непреодолимая стена. И по ту сторону этой стены высказываются совсем другие соображения. [21]

— Ты слышал, — шепчет голодный жаждущему, — они записывают по специальности. Видно, им нужны портные и сапожники. Ручаюсь, мы будем работать на фабрике, где шьют для армии.

Жаждущий не хочет спорить, ему и так все ясно. И когда «волк» наклоняется к нему и спрашивает о профессии, он спокойно отвечает: «Портной». «Волк» идет дальше, а «портной», хитро улыбнувшись, поворачивается на другой бок и говорит голодному:

— Если попаду на фабрику, это уже хорошо. У немцев все механизировано, всюду новые машины, с которыми они каждого учат обращаться. Никто и не узнает, что я не портной.

Но голодный не уверен в этом. Он считает, что врать весьма рискованно. Сделаешь брак на фабрике — заместят, пришьют тебе саботаж и пристукнут. Нет, лучше действовать иначе. На каждой фабрике есть бухгалтерия, работать там даже лучше, чем в цехе. Почему не сказать правду: я, мол, бухгалтер... и не приврать к тому же, что у меня есть опыт работы на швейном производстве.

— Неужто все польские евреи — портные? — удивляется голландец Дерек, забежав на минуту погреться в конторе.

— Что ты меня спрашиваешь? Я ариец, колбасник из Вены, — сердито ворчит писарь.

Вслед за Дерекон по ступенькам спускается взволнованный санитар Пеппи.

— Знаете, кого я встретил? — кричит он еще в дверях. — Парня, который знал моего отца. А вы не верили, что у моего папаша до сих пор три кинематографа в Судетах — один в Уста, другой в Дечине и третий в Либерце. Так вот, этот парень, кинорежиссер из Праги, лично знал моего папашу. Точно мне его описал: такой, говорит, приятный господин с седыми усами.

— Дурачок, Пеппи! — хихикает писарь. — Мы работаем как проклятые, а он ходит интервьюировать кинорежиссеров.

— И выторговывать обувь, — замечает Фредо, кинув взгляд на ботинки в руках санитара. — Сколько порций похлебки ты за них дал?

— Пускай приведет сюда того типа, — просит Гастон. — У нас тут еще не бывало кинорежиссера. [22]

— Не дурите, — ворчит писарь.

— Да! — восторженно восклицает Пеппи. — Вот возьму и приведу, спросите-ка у него о моем папаше. Он даже вспомнил название нашего кино в Уста, честное слово!

И Пеппи исчезает за дверью.

В лагере есть не только «волки» и «шакалы», но и «гиены» — охотники до живого

мяса. Карльхен первым отправляется на рекогносцировку — нет ли среди новичков смазливового мальчика. Он, правда, уже выяснил путем расспросов, что в Освенциме всех узников моложе восемнадцати лет отправили в газовые камеры. Но Карльхен надеется, что какому-нибудь отцу удалось протащить малолетнего сына через «селекцию»^[4]. Опытный хефтлинк, Карльхен знает, какой спрос будет на таких мальчиков, как только «волки» нажрут досыта. — Эй, ты! — наклоняется он над фигуркой, притулившейся на земле, довольно далеко от конторы. — Сколько тебе лет?

Спрошенный слегка выпрямляется и, испуганно замигав, отвечает:

— Двадцать, сударь.

Карльхен смеется. — Меня ты не бойся, дурачок. Тебе же не больше пятнадцати. — Двадцать, — упорствует юноша, и в голосе его слезы. — А вот это мой старший брат, он больной, сударь.

Карльхен бросает беглый взгляд на лежащего человека, лица которого не видно.

— Как тебя зовут? — спрашивает он юношу.

— Берл Качка из Лодзи, сударь.

— Берл? — смеется Карльхен. — Это похоже на перл, а?

Юноша сперва не понимает, что сказал по-немецки капо, потом тоже улыбается...

— Нет, сударь, не перл. Берл значит медведь, медвежонок.

— *Slaner Bär, ah da schau her* <Ах ты, мой милый медвежонок (нем.)>, — еще громче хохочет Карльхен, пристально глядя в большие глаза юноши, потом заставляет его подняться и ведет к своему барaku. — А все-таки сдаюсь мне, что я нашел перл. [23] «Неужто мне вправду разрешили уйти с апельплаца? — удивляется Зденек и, прихрамывая, спешит за нетерпеливым санитаром в контору. — Боже мой, хоть бы дали поесть чего-нибудь горячего».

Пепи вталкивает его в дверь, слабые ноги Зденека спотыкаются на ступеньках, и он чуть не падает на пол. Яркий свет слепит Зденеку глаза. В клубах табачного дыма перед ним неожиданно возникают любопытные лица сидящих полукругом людей.

— Шапку долой, когда стоишь перед главным писарем, — рявкает кто-то.

Рука Зденека послушно тянется к грязной, наголо остриженной голове и снимает шапку.

— Спросите-ка его, спросите! — восклицает санитар.

— Что вы тут подняли галдеж?! — хрипит писарь и угрожающе поднимает голову.

— Вот выгоню всех отсюда!

Гастон встает и делает успокоительный жест. Покрасневшие глазки писаря следят за ним из-под стальных очков, Эрих молчит. Этот долговязый француз, на котором даже неподогнанная арестантская куртка сидит как-то элегантно, — умная голова и пользуется уважением. Гастон один из немногих в лагере, кого писарь несколько опасается.

— Говорят, что вы кинорежиссер? — по-французски спрашивает Гастон и, обойдя стол, останавливается перед новичком, который ниже его на полголовы.

Зденек плохо видит окружающих. Какие-то смеющиеся светлые пятна вместо лиц... — Да... я работал на киностудии, — отвечает он запинаясь. — Это верно... но я еще молод... — Он уже не мог лгать так смело, как соврал санитару. Надежда на горячую еду улетучивалась. — В больших картинах я был только ассистентом... И сам сделал несколько короткометражек.

Санитар не понимает по-французски и, слыша, как бегло говорит Зденек, решает, что новичок подтверждает его, Пепи, слова.

— Вот видите, — торжествует он. — Он знает моего папашу...

Гастон легким движением руки отстранил санитару и спросил так непринужденно, словно разговор шел где-то в кафе: [24] — Демонстрировались ваши фильмы и во Франции, мсье?

Зденек не успел ответить — вмешался писарь. Озлившись, что он не понимает разговора и что ему мешают работать, он накинулся на Пепи:

— Нечего водить сюда своих дохлых мусульман! Для этого у тебя завтра будет лазарет. Вон отсюда, вы оба!

Гастон с вежливым сожалением пожал плечами и вернулся на свое место. Зденек беспомощно и боязливо оглядывается. Только теперь он разглядел большой необструганный стол и деревянный ящик с карточками. Но вдруг в глазах у него опять помутнело, колени ослабли. Он был рад, когда санитар взял его за рукав и потянул к двери.

— Не бойся, — упрямо твердил Пепи, — скажи им, что ты знал моего папашу.

«Для этого он меня и привел, — сообразил Зденек и послушно закивал, как петрушка. — Ну, конечно, знал!»

И вот он уже снова не в светлой конторе, а на апельплаце, и ночь над ним еще холоднее и чернее, чем прежде.

2.

Зденек так смертельно устал и изголодался, что даже не мог съесть три холодные картофелины, которые сунул ему санитар. Вместе с другими заключенными он присел на корточки на сыром шлаке; Зденеку казалось, что он уже не живет, что он погрузился в какую-то полубессознательную дремоту, которая заменяла сон узникам Освенцима.

...В его памяти встали картины освенцимского ада... Из короткой четырехгранной трубы крематория вырываются языки пламени, бросая скачущие блики на узкие окна большой конюшни, где живут заключенные. На голом бетонном полу сидит на корточках тысяча человек, каждый между расставленных колен другого, повернувшись к нему спиной и не имея возможности вытянуться. Одежд нет, вместо одежды — скудное тряпье. Раздается резкая команда:

— Schlafen, los! <Спать, живо! (нем.)> [25]

Измученным босым ногам трудно без обуви, но ее сложили рядами у кирпичной кладки посредине конюшни, чтобы «волкам» — или там, в Освенциме, были «тигры»? — было удобней выбирать то, что им приглянется. Полумертвые люди переводят взгляд с вожденной обуви на блики, вздрагивающие в окнах. Здесь у меня украдут ботинки, там сожгут мою жену... Но глазам не хочется плакать, им

хочется только спать. «Schlafen, los!»

Зденек испуганно вздрагивает во сне. «Я сплю, сплю, — отчетливо сознает он, — сплю с открытыми глазами. То ли я спятил, то ли уже умер, но я сплю с открытыми глазами и все мое существо вопиет: «Спасай свои башмаки!»

Измученные руки и ноги с трудом слушаются Зденека, но все же он поднимается с пола, бесконечно долго пробирается среди полумертвых, постанывающих во сне людей и тащится к длинному ряду ботинок. Оглядев его, Зденек видит, что «волки» уже взяли свою дань: обувь вся разбросана, перемешана, «сторожей» нет, в тусклом свете нескольких лампочек и дрожащих отблесков из окон видны только конвульсивно скорчившиеся фигуры людей. Кто знает, живы они или уже умерли?..

Зденек ползет, напрягая глаза, подкрадывается к своей паре. Вот тут где-то он ее поставил, крепко связав шнурками. Здесь или там? Никак не найдешь! Вместо аккуратного ряда башмаков полнейший беспорядок, все перемешано в кучу. Ага, улыбается спящий Зденек, озорник Тиль Уленшпигель перепутал башмаки: «Найди-ка, сосед, свою пару!» Но Зденеку совсем не весело, он лихорадочно роется в груде изношенной обуви. Страх, боязнь потерять единственную пару сильнее всех литературных реминисценций! Спасайся! Вытаращив глаза, сонный Зденек ищет свои грубые башмаки, которые недавно получил — с тумакон впридачу — взамен добротных пражских ботинок. Слава богу, что есть хоть эти, сохранить бы хоть их... Где же они, где? Одуревший, подобный лунатику Зденек снова шарит в груде обуви. Вот они! Он подносит один ботинок почти вплотную к глазам: вот этот похож на мой. Но ведь я связал их вместе, где же второй? Да и мой ли это? Зденек садится на кучу обуви и пытается надеть башмак на босую ногу. Да, видимо, мой. Но куда запропастился второй? [26]

Зденек тащится вдоль беспорядочной груды обуви и ищет другой башмак. У дверей вдруг кто-то кричит: «Проваливай! Schlafen, los!» — и замахивается дубинкой.

Зденек, как подкошенный, падает на пол, прижимая к груди свой башмак. Он ждет удара, он знает, что в Освенциме с дубинками шутки плохи: здешние молодчики гордятся умением убивать одним ударом по затылку. Но внутренний голос, который твердит «Спасай свои башмаки!», никак не заставишь молчать. Проходит несколько бесконечно долгих минут, Зденек косится на груды обуви и видит, что там уже копошатся пять... шесть... восемь фигур. Видимо, угроза миновала, а другие узники, пробужденные окриком, тоже вспомнили, что нужно спасти обувь, без которой не выживешь в лагере.

Зденек снова поднимается. Одной рукой он прижимает уже найденный башмак, другой упрямо роется в куче обуви. Роется долго-долго, ищет уже не парный ботинок, а хоть что-нибудь подходящее, о господи, что-нибудь подходящее! Он снова присаживается на корточки, примеряет какой-то башмак... Пожалуй, годится, хоть и от другой пары... Потом опять падает, глаза у него смыкаются, сознание совсем тускнеет.

Кто-то резко дергает один из башмаков, которые Зденек сжимает в руках, и это приводит его в себя.

— Auf! Auf! <Встать! Встать! (нем.)>

Он проспал команду, но сейчас гомон тысячи людей, бросившихся к куче обуви, пробуждает его. В центре конюшни, на кирпичном возвышении, стоит хохочущий эсэсовец, рядом с ним ржут двое капо с дубинками. — Через пять минут всем выстроиться перед баракон на перекличку! Живо, марш!

Все трое покатываются со смеху и хлопают себя по ляжкам. В самом деле, бессмертная шуточка Уланшпигеля!

Ошалелые, нет, теперь уже остервенелые люди рвут друг на друге одежду, оттаскивая один другого от груды башмаков. Зденек лежит животом на своей паре, он готов защищать ее ценой жизни. Ведь каждый ребенок знает, что обувь в лагере — это сама жизнь. На Зденека наступают, его пинают ногами, но он думает только о том, что он спас свою обувь. Но вот людям с дубинками надоедает потеха, дубинки обрушиваются на костлявые [27] спины, и заключенные с жалобными криками рассыпаются во все стороны, кто с башмаками, а кто и без них. Зденек тоже спохватывается и бежит к выходу. Только теперь он окончательно проснулся...

* * *

— Auf, Auf, живо, марш!

Мы уже давно в Гиглинге, под звездным альпийским небом, на ногах у меня два разных башмака, в руке три остывшие картофелины, и положение мое куда лучше, чем у многих босых товарищей.

— Aufgehen zu fünf! <В шеренги по пяти стройся! (нем.)>

Итак, жизнь все-таки неистребима, мы уцелели, выбрались из Освенцима не через трубу крематория, а через дверь, и теперь мы далеко оттуда, в Альпах. Стоит холодная ночь, и, видимо, уже пришел конец нашему ожиданию...

«Волки» бегают вокруг человеческого стада, подгоняют людей. Строиться! Зденек впивается зубами в картофелину.

* * *

— Ach-tung! <Смирно! (нем.)> — хрипит писарь, предостерегающе растягивая слог «ах» и повышая голос на лающем «тунг». — Четверо заключенных работают в конторе, — рапортует он.

Человек в эсэсовской форме, слегка нагнувшись, входит в дверь.

— Продолжайте! — небрежно говорит он, спускается по ступенькам и, расправив полы шинели, садится на край стола. — Ну как, все приняли в порядке?

— Так точно, герр обершарфюрер! — докладывает писарь, стараясь придать своему хриплому голосу некий пониженный, доверительный тон. Ибо даже он не может себе позволить, чтобы нацисты усомнились в его физической полноценности. — Принимать транспорт по освенцимским спискам, конечно, не было возможности. Вы ведь знаете их работу...

Эсэсовец коротко усмехнулся — еще бы, мне да не знать! — и сдвинул фуражку на затылок, обнажив очень бледный, влажный лоб. [28]

— так что мы начали все сначала — устроили всеобщую перепись, словно никаких списков и не было, и составили новую полную картотеку, — продолжал писарь, сделав полный нежности жест в сторону ящика, наполовину (да, да, уже

наполовину!) заполненного. — Теперь можно разместить новичков по баракам, а в ближайшие дни нам хватит времени, чтобы сверить нашу картотеку (какое приятное слово!) с так называемым списком из Освенцима...

Эсэсовец раскрыл пустой портсигар, поглядел на него и покачал согнутой ногой. За голенищем у него торчал кусок красного кабеля — тонкий, гибкий кусок стали в толстом слое резиновой изоляции. Писарь поднял покрасневшее лицо и почтительно улыбнулся.

— Здесь все будет по-нашему. Так, как вы хотели в Варшаве.

Опять короткий сдавленный смешок: в Варшаве! В бледно-голубых глазах обершарфюрера Дейбеля мелькнуло почти мечтательное выражение, но резкие скулы и тупой носик сохраняли жесткие очертания.

— При подсчете у ворот у нас получилось тысяча четыреста девяносто шесть человек. Совпадает с вашим счетом?

— Конечно, герр обершарфюрер, — почти обиженно пробурчал писарь. Разыгрывай из себя хозяина и хоть самого черта там, за воротами, думал он, а здесь, внутри лагеря, хозяин — я. Уж не думаешь ли ты, что я не знаю, сколько вы там насчитали, или воображаешь, что я признался бы тебе, если бы тут их оказалось больше?

— Тысяча четыреста девяносто шесть плюс шесть мертвых, что остались на станции, — всего, стало быть, тысяча пятьсот два. А в освенцимском списке числится ровно полторы тысячи. Значит, у нас чистая прибыль — два хефтлинка. Такие у *них* порядочки! — и писарь расхохотался, насколько это ему позволяло оперированное и плохо сшитое горло.

Дейбель тоже был в хорошем настроении. — А сколько мертвых у вас здесь, на апельплаце?

— Четверо, герр обершарфюрер. Не понимаю я, что за материал они нам шлют! Когда *нас* отбирали для Варшавы...

— Ну, — усмехнулся Дейбель, — вы-то ведь ехали из Освенцима всего полдня. Будь переезд продолжительнее, вы бы задушили друг друга в вагонах. А эти [29] ехали пятьдесят шесть часов. Для такого сброда это долгонько.

Дверь отворялась, и на пороге появились два бойких краснорожих типа. У них был такой вид, словно они не знали, что в конторе сидит высокое начальство. Первый из них, немец с щегольскими усиками, вытянул руки по швам и отрапортовал:

— Двое заключенных вернулись со станции.

— Is gut <Хорошо (нем.)>, — произнес Дейбель и уставился на них блеклыми голубыми глазами. — Староста Хорст, — спросил он человека с усиками, — с мертвыми все в порядке?

— Так точно, герр обершарфюрер, все, как приказано.

— А почему вы пропадали так долго? Обделывали делишки?

Дейбелю ответил второй из двух, Фриц, коренастый красивый немец, подбородок которого выдавал жестокость характера.

— Долго? Закопать шесть трупов — не пустяк! — и как ни в чем не бывало

пружинистой походкой прошел за занавеску из одеял, отделявшую заднюю часть помещения.

Слегка обеспокоенный писарь поднял голову. Не чересчур ли это смело даже для Фрица? Но Дейбель, видимо, слишком давно был без сигарет.

— Велите развести заключенных по баракам — сказал он с невинным видом, слез со стола и прошел за занавеску. Оставшиеся наострили уши, но не услышали ничего.

Через минуту люди на апельплаце зашевелились. «Марш по баракам, марш по баракам!» - кричали «волки» и спешили на свои места. Они отсчитывали по полсотне новичков и загоняли их в новые бараки.

Ночная тьма уже редела. За колючей оградой на светлеющем небе вырисовывались контуры леска. Зденек до сих пор не знал, как выглядит лагерь. Это было ему безразлично, как и то, какие люди его окружают. Но сейчас, шагая по тропинке мимо диковинных крыш, словно торчащих из земли, он стал приглядываться. Видимо, весь лагерь состоит из таких же землянок, как [30] и контора, где он побывал; крыши всюду лезут прямо из-под земли, фасадная стена барака представляет собой треугольник с дверью посередине, от которой ступеньки ведут вниз, внутрь помещения.

— Achtung! — закричал человек в очень чистой арестантской одежде, появляясь перед группой, в которую попал Зденек. — Стой! — Заключенные столпились около него в тупом ожидании. Человек махнул рукой в сторону двери, перед которой они стояли. — Вот видите надпись? — Он прочитал наставительно, как учитель в школе: — «Барак номер четырнадцать». Всем видно?

— Всем, — пробурчали некоторые.

— А теперь слушайте. Я блоковый четырнадцатого барака, а вы его обитатели. Зарубите себе это на носу. Если ночью кто-нибудь будет возвращаться из сортира и забудет номер своего барака, пусть лучше замерзнет на дворе, чем сунется в чужой барак. Там подумают, что он пришел воровать, и пристукнут его.

Зденек дожевал последнюю картофелину и, немного подкрепившись, начал разглядывать блокового. Тот говорил на скверном немецком языке с польским акцентом. Кончая фразу, он не закрывал рта, шумно дышал, хватая воздух ртом, как рыба. Вместо пауз он выкрикивал: «Verstanden?» <<Понятно?» (нем.)>

Кое-кто из соседей Зденека сразу заметил склонность блокового к поучениям и откликнулся «Jawohl!» <<Так точно!» (нем.)>, видимо, желая угодить ему.

Зденек видел вокруг себя только незнакомые лица и не жалел об этом. После того, как его увезли из Терезина, он потерял всякий интерес к людям. Закрывая глаза, он отчетливо представлял себе Ганку: казарменное окно и в нем ее маленькое лицо с темными пятнами от беременности; Ганка не хочет плакать, заставляет себя улыбаться, ее маленькая рука машет кусочком красной ткани. Эта сцена разлуки погасила в Зденеке всякий интерес к внешнему миру.

Зденек был раздавлен, стал бесчувственной вещью, одной из многих, которые можно сотнями грузить в вагоны и разгружать, возить повсюду, толкать, запугивать, [31] морить голодом и бить. Но когда у Зденека бывали проблески самостоятельного мышления, у него возникало желание выставить локти,

отталкивать всех и пробиваться куда-то самому. Кто сказал, что в минуты опасности человеку хочется быть на людях? Зденек не замечал ничего подобного, по крайней мере у себя. Наоборот, чем больший гнет испытывали заключенные, тем сильнее Зденек стремился обособиться от запуганного человеческого стада... Уж лучше одному... Выбраться одному или подохнуть в одиночку, да, да, в одиночку. Он был давно готов к смерти. Жизнь в нем поддерживало, видимо, лишь едва теплившееся, но неистребимое любопытство. Уж если погибнуть, то погибнуть последним, не допустить, чтобы это перепуганное стадо пробежало по тебе, суметь в последний раз оглянуться, увидеть собственный конец...

«А не обманываю ли я сам себя?.. — задавался он иногда вопросом. — Может быть, мои мысли — всего лишь заурядный эгоизм? Какое там желание видеть собственный конец, не просто ли это желание жить, *самому* жить? А может быть, я даже способен убивать других, чтобы выжить? Если бы на меня насильно надели эсэсовский мундир, стрелял бы я в людей по приказу или все-таки отказался бы, покачал головой и ушел умирать в свой угол?»

Голодная лагерная жизнь приглушала этот голос совести. «Брось мудрить, — говорил себе измученный Зденек, — эгоизм или не эгоизм — не все ли равно, я хочу жить в себе и для себя. Разве так уж нехорошо — держаться особняком среди этого страшного стада? Разве даже самый последний мертвец не вправе желать своей собственной отдельной могилки?»

Тем временем человек в чистой арестантской одежде продолжал командовать:

— Сейчас вы войдете со мной в четырнадцатый барак. Входите не спеша и пристойно, иначе я набью вам морду. Первые пройдут за мной в дальний конец барака и, не говоря ни слова, займут нары направо и налево. Остальные за ними. *Verstanden?* Место найдется каждому, и одеяла там есть для всех, так чтобы без фокусов! Куда попал, там и оставайся, перебежать не разрешаю, имейте в виду! Шагом марш!

Зденек раздраженно поднял брови — кругом уже началась толкотня. Приятели хватили друг друга за рукав, [32] чтобы вместе попасть на нары. Кто-то вцепился и в Зденека.

— Это я, Феликс, пианист, ты меня знаешь по Терезину, — раздался быстрый испуганный шепот, — давай держаться вместе!

Отказываться времени не было: впереди люди уже ломились в низкую дверь.

— Пойдем, а то нам достанутся места у самого выхода, а там будет холодно, — сказал Зденек и двинулся к бараку.

— Но там будет больше воздуха, — удерживал его Феликс.

Зденек нагнул голову и молча продолжал двигаться к двери. Робкий человек рядом с ним сказал: «Ну, как знаешь...» — и не отпускал больше рукав Зденека. Они вместе ввалились в барак, споткнувшись на ступеньках, вместе плюхнулись на какие-то нары справа. О том, чтобы выбирать место, нечего было и думать: их просто внесло в барак — задние толкали, передние не пускали вперед.

— Тихо! Сидеть и молчать! — заорал блоковый, пробираясь против течения и раздавая первые удары. Зденек забрался на свое место, чтобы ему не оттоптали ноги, и стал рассматривать помещение. Здесь было не совсем так, как в конторе:

здесь не сделали пола на всей площади барака. От двери вдоль барака тянулось что-то вроде канавы, так чтобы мог пройти, не сгибаясь, невысокий человек. По обе стороны этого углубления земля под крышей осталась на той же высоте, как была. Ее покрыли досками, на доски насыпали стружки: это и есть нары. Крыша начиналась над самой головой людей, лежавших на нарах, а в середине землянки ее поддерживали деревянные столбики. Справа от Зденека тускло мерцала лампочка, при ее свете он узнал несколько лиц, знакомых по Терезину и по поезду. Но из близких друзей тут никого не было.

— Здесь, в середине, наверное, лучше всего, — сказал Феликс, все еще держась за левую руку Зденека, и тотчас втянул голову в плечи, потому что блоковый около них снова взревел: «Тихо!»

Видимо, все пятьдесят человек уже были в бараке; больше никто не входил. [33]

Блоковый пошел закрыть дверь. Под его угрожающим взглядом последние узники укладывались на нары. Проход посредине землянки опустел.

— Вас тут должно быть полсотни. По двадцать пять с каждой стороны.

Опять началась проверка. На правой стороне оказалось двадцать семь. Переселение двух лишних не обошлось без оплеух. Потом настала тишина. Какое-то спокойствие полуобморочного изнурения овладело людьми. После стольких ночей на бетонном полу в Освенциме и в грязном вагоне узники отдыхали на стружке под низкой крышей землянки. Здесь было тесно, как в крольчатнике, люди лежали вплотную, и все же у них возникло ощущение какой-то оседлости. Они дышали медленно и с опаской глядели на блокового, который снова пересчитывал их.

Зденек взглянул на соседа справа. Тоже знакомое лицо по Терезину, не знаю, как его зовут, но, видно, и он не слишком расположен к новым знакомствам — смотрит себе упрямо в одну точку. «Плохие у него, бедняги, башмаки», — заключил Зденек и опять перестал думать.

Спать все еще было нельзя, потому что блоковый ходил с карандашом и бумагой и записывал фамилии заключенных. Вдруг дверь распахнулась, и в барак со смехом ввалились двое проминентов: тот, с щегольскими усиками, и красавчик Фриц.

— Добрый вечер, староста, — возгласил блоковый, стараясь, чтобы все новички услышали, кто его гость и закадычный приятель. — Дейбель уже убрался восвосяси?

— Не задавай дурацких вопросов, поляк, — холодно отрезал Фриц, выпятив подбородок и приподняв плечи. — Давай вещи. — Immer der alte Bulle! <Ишь ты, как всегда, рубит сплеча! (нем.)> — весело воскликнул блоковый, словно Фриц блестяще сострил, и поспешил в глубину барака. Зденек только сейчас заметил там занавеску из одеял. Блоковый исчез за ней и крикнул оттуда:

— А здорово я предупредил вас у ворот, что обершарфюрер Дейбель в конторе? А?

— Старый хефтлинк, а такое трепло! — сплюнул Фриц. — Ну и блоковых ты выбрал, староста! В Варшаве он был заправским мусульманином, а здесь стал проминентом! [34]

— Не у каждого восьмилетний лагерный стаж, как у тебя, — польстил Фрицу тип с усиками и хлопнул его по спине.

Из-за занавески появился блоковый с мешком в руке.

— Вот он, — угодливо сказал он. — Приятного аппетита! — Видишь, он и сюда совал рыло! — прошипел Фриц и вырвал мешок из рук блокового.

В этот момент откуда-то из угла раздался робкий голосок:

— Bitte <Пожалуйста (нем.)>, герр староста, можно к вам обратиться?

Блоковый кинулся было в ту сторону, чтобы наградить наглеца тумачком, но староста Хорст сказал тоном прусского офицера: — Разумеется, Immer raus damit <Выкладывайте вашу жалобу (нем.)>

— Нет, нет, мы не жалуемся. Господин блоковый очень добр к нам. Мы только хотели спросить, нельзя ли нам получить сейчас какую-нибудь еду. Мы уже три дня ничего не ели.

С минуту стояла полная тишина. Люди глотали слюнки. Потом староста сказал:

— Вы только что зачислены в состав нашего лагеря, приятели. Пайки на вас мы начнем получать только завтра. Ясно? — и уже в дверях добавил: — Хефтлинку не подобает хныкать и жаловаться. Спойте что-нибудь и спите. Через три часа будет завтрак.

— Ага! — воскликнул блоковый после ухода обоих гостей. — Спеть — это хорошая идея! Кто из вас умеет петь?

Пение в такой обстановке казалось всем довольно странным занятием. Наступило апатичное молчание.

— Что же вы?! Кто запоет, получит завтра лишнюю порцию похлебки. Ну-ка!

— Спой ты, Зденек, — прошептал Феликс и, не получив ответа, сказал вслух: — Вот Зденек хорошо поет. В Терезине он даже пел Миху в «Проданной невесте», помните?

И все, даже те, кто никогда не был в Терезине, забурчали: [35]

— Пусть поет Зденек.

— Кто из вас Зденек? — спросил блоковый.

Несколько рук показало на Зденека, а Феликс воскликнул :

— Вот он, рядом со мной.

Блоковый остановился перед Зденеком.

— Ну-ка, сядь, чтоб тебя было видно. — И когда Зденек повиновался, спросил тихо: — Что ты делал на свободе?

— Работал на киностудии.

Блоковый повернул свою кепку козырьком назад и сделал такой жест, словно вращал ручку киносъёмочного аппарата. — Пой, снимаю! — воскликнул он. Губы у него все время были выпячены, рот приоткрыт, и он по-прежнему шумно дышал.

У Зденека как-то странно сжалось сердце. О чем только он не думал в последние дни, и больше всего о смерти, но уж никак не о песнях. А впрочем, почему бы и не спеть? Он обхватил колени руками и начал:

Оковы, кандалы и цепи

Нас больше не повергнут в страх:
Ржавеют кандалы и цепи,
Свободу не удержишь в кандалах.

Он пел песенку Освобожденного театра {5}, пел ее как-то механически, невесело и без подъема. Но тотчас же в полутьме несколько голосов подхватило песню:

Свободу не удержишь в путах
И в кандалы не закуешь,
Ржавеет сталь, и рвутся путы,
И мысль тюрьмою не уймешь...

Блоковый внимательно слушал, слов он не понимал, но все-таки похлопал в ладоши.

— Bravo! Завтра я отведу тебя в лазарет, там старший врач тоже чех, он любит песни, вот увидишь, получишь жратвы сколько влезет. — И без всякого перехода обратился к остальным: — А теперь — спать! Одежду и обувь снять и сложить под головой. И если утром кто-нибудь заикнется мне о том, что у него украли башмаки, я его самолично вздую. Без обуви тут еще никто [36] не прожил дольше двух дней. Но я его все-таки вздую в наказание за то, что он такой олух и дал себя обокрасть.

Каждый заключенный получил грубое серое одеяло, завернулся в него, как умел, лег на бок, вклинив свои колени под колени соседа, и закрыл глаза.

— Я надеюсь, ты не сердишься, что я помог тебе получить лишнюю порцию похлебки? — прошептал Феликс.

Зденек улыбнулся, не открывая глаз.

— Не беспокойся, и тебе достанется доля.

И, положив правую щеку на башмаки, а левой почти касаясь крыши, он прочитал про себя два четверостишия, посвященные Ганке, и заснул с улыбкой.

3.

Примерно за час до восхода солнца Феликс проснулся, осторожно сел, чтобы никого не разбудить, обулся и слез с нар. В конце барака виднелся светлый квадратик застекленной двери.

Выйдя на улицу, Феликс вздрогнул от холода. Дыхание его превращалось в пар. «В другой раз не стану выходить в одном белье, накину одеяло», — подумал Феликс. Потом он оглянулся. Серая улочка, по обе ее стороны — треугольники бараков. За бараками на той стороне — двойная ограда с вышкой, где прохаживается часовой, насвистывая «Лили Марлен». Только этот свист нарушал полную тишину, лагерь еще спал.

Феликс искал глазами отхожее место. Наверное, это вон те строения повыше, на обоих концах улочки, решил он и, так как к левому было ближе, направился туда. Едва он подошел к домику, перед ним выросла мощная фигура какого-то заключенного. Феликс так испугался, что сделал шаг назад.

— Ты что тут делаешь? — гаркнул тот по-немецки.

— Ищу отхожее место.

— Для мусульман — вон там! — сердито кивнул человек на противоположный

конец улочки. — А здесь — для проминентов. Чтобы ты получше запомнил это, получай! — И ни за что ни про что он вПепил Феликсу оплеуху. Сокрушительную оплеуху. Большая твердая ладонь так стукнула Феликса, что у него что-то треснуло в черепе. Бедняга зашатался и чуть не упал. «За что, за что [37] он меня ударил?» — с детским упорством твердил себе пианист. Слезы бессильного гнева крупными горошинами покатались по его грязным щекам.

Часовой на вышке перестал насвистывать и воскликнул в восторге:

— Вот так затрещина! Die war aber nicht von schlechten Eltern <Высокий класс! (нем.)>.

Феликс удивленно поднял голову и увидел солдата, который, держась за перила, покатывался со смеху. Обидчик тем временем быстро скрылся за углом. Феликс уже не плакал. Утерев глаза тыльной стороной ладони, он медленно добрал до другой уборной, потом вернулся в барак. Он попытался стиснуть зубы, чтобы заглушить боль, но это не помогло. Боль, наоборот, усилилась, и Феликс даже не осмелился ощупать щеку пальцами.

В бараке все спали. Феликс добрался до своего места, влез на нары, снял башмаки, положил их под голову и стал ждать, когда все проснутся. Глаза его были сухи.

Это был ужасный, нескончаемый час. Хорошо хоть, что он не изуродовал мне пальцы, -утешал себя Феликс. — Удар по лицу — это пустяки. Руки, руки — в них вся моя жизнь... Ведь я хочу снова играть на рояле, и буду играть! Пальцы слушаются, а это самое главное. От пощечины еще никто не умирал. «Замахнулся — бей», — говаривала мамаша, а она умела давать затрещины... Почему у меня так болит челюсть? Не выбил ли мне этот скот зубы?

Но Феликс так и не отважился ощупать зубы языком.

* * *

В это время писарь Эрих Фрош уже совершал обход лагеря. Он зашел на кухню — убедиться, все ли там в порядке. У котла стоял громадный грек Мотика и варил кофе. Его помощник, слабоумный и глухонемой баварец Фердл, развлекался тем, что расставлял тридцать новеньких кофейников по ранжиру, словно оловянных солдатиков.

— Слушай, Мотика, — сказал писарь, — ты сам понимаешь, что эсэсовцы не оставят в наших руках [38] снабжение всего лагеря продовольствием. Пока здесь было полторы сотни человек, другое дело. А теперь их тысяча шестьсот пятьдесят, и скажу тебе между нами, что в ближайшие дни станет больше. Рапортфюрер справлялся у меня, можно ли оставить тебя в кухне или я предпочту выбрать нового повара из новичков...

Мотика, засаленный до ушей, сделал скромную мину.

— И что ты сказал?

— Что! Сам знаешь. Я сказал: Мотика вполне подходит.

— Гран мерси, писарь, — поклонился повар, сунул руку глубоко в трубу старой печки, что стояла рядом с котлом, и извлек оттуда бутылку; тщательно отер ее тряпкой и, многозначительно подмигнув, вручил писарю: «На здоровье!» Эрих сунул подарок в карман и деловито продолжал:

— Ты останешься старшим из заключенных в кухне и получишь в помощники, кроме Фердла, еще пятнадцать человек. Но главным над тобой будет эсэсовец, кто именно, я еще сам не знаю. Он прибудет, может быть, уже сегодня. Ты его величай «герр кюхеншеф» и держи с ним ухо остро, пока мы его не раскусим. Если он тебя на чем-нибудь поймает, я выручать не стану. Пока что не делай ни мне, никому другому никаких услуг. Выжди. То, что у тебя припрятано, еще до завтрака убери из кухни куда-нибудь подальше, хотя бы в греческий барак. Или зарой под картошкой. Но чтобы в кухне у тебя ничего такого не было. И здесь тоже, — Эрих показал на старую печку. Мотика щелкнул каблуками. — Jawohl, Lagerschreiber! <Так точно, господин писарь! (нем.)>

— Не дури, — писарь махнул рукой. — Кофе сегодня выдашь в семь часов. В восемь привезут хлеб, мы его сразу раздадим. На обед будет картошка, по триста пятьдесят граммов на человека, смотри не обвешивай. На сегодня я пришлю тебе десять помощников. Хватит?

— Хватит, Эрих. — Also, machs gut <Ну, все в порядке (нем.)>.

Писарь вышел из кухни и оглядел лагерь. [39]

Стояло холодное, ясное утро. Лес за оградой казался таким близким, прямо рукой подать. Налево виднелась синеватая гряда гор, под ними желтым пятном выделялась ландсбергская крепость. Но Эрих не замечал всего этого. Он не обращал внимания ни на что вне лагеря, во-первых, потому, что был очень близорук, а во-вторых, потому, что сосредоточил все свое внимание только на лагерных делах. Других интересов у него не было. Эрих хотел остаться в верхах, хотел быть образцовым писарем лагеря. К этому сводилось все его честолюбие. Столь несложная цель жизни давала ему преимущество перед большинством заключенных. Все эти дурни, что спали сейчас в землянках у его ног, мыслями витают бог весть где. Им снится прошлое, всегда прекрасное и отрадное, или будущее, которое кажется им еще прекраснее, а ведь все это просто бред. Их все время точит мысль о какой-то там свободе. А он, Эрих Фрош, он образцовый старый хефтлинк. Он уже шесть лет в лагере, и только здесь стал важной особой, дослужился до более высокого положения, чем на свободе. Эрих забыл о том, что когда-то был колбасником, и старался не думать о будущем. Он чувствовал себя неизмеримо выше этих обезьяноподобных мусульман, которые сегодня ночью пришли в новый лагерь и голова которых забита мыслями о вчерашнем дне. Все они передохнут, прежде чем по-настоящему свыкнутся с Гиглингом, который считают незначительным этапом на своем славном жизненном пути. А ведь Гиглинг — это всё. Что еще существует на свете? Я, Эрих Фрош, больше ничего не вижу и не знаю. А разве есть кто-нибудь умнее Эриха Фроша?

Погода сегодня отличная, картотека пополняется, я главный писарь, в кармане у меня бутылка шнапса — предел мечтаний настоящего хефтлинка. Но я не хлебну из нее сейчас, потому что, может быть, через минуту мне придется стоять навытяжку перед эсэсовцем, и он учует спиртной дух. Не-ет, писарь Эрих умеет жить, он поумнее всех вас, его на мякине не проведешь!

Эрих стоит на Лагерштрассе, главной улице лагеря, и представляет себе, какой она станет через несколько дней. Лагерштрассе — это продольная ось целого комплекса построек, направо и налево от нее будет три ряда барачков. Пока что достроена только правая сторона — десять барачков и за ними еще два ряда по [40]

десяти. Впереди, близ входа в лагерь, стоит контора и три проминентских барака — немецкий, греческий и французский, где до сих пор жила строительная команда. Налево от главной улицы уже функционирует кухня. Через несколько дней и около нее вырастет ряд бараков, за ним еще два ряда, всего, стало быть, тридцать штук. Вместе с уборными и умывалкой это составит лагерьный комплекс на три тысячи человек. Именно так все это выглядит в комендатуре, на плане с каллиграфической надписью «Гиглинг 3, рабочий лагерь, в распоряжении фирмы Молль, Мюнхен. Секретно! Военный объект!»

Этой осенью фронт приблизился к самым границам Германии. Теперь или никогда — Гитлер знает это. Теперь все поставлено на карту, теперь нужна каждая рабочая рука. Быть может, рассуждает Эрих, наступает момент, когда во всей разоренной Европе не будет местечка теплее и безопаснее, чем хороший концлагерь. Американцы не будут его бомбить, а гитлеровцы не станут истреблять узников. Адольфу мы сейчас нужны, ведь мы не где-нибудь, за тридевять земель, на краю Европы, а в самом сердце Германии, близ Мюнхена. Наш лагерь даже не скрыт каменной стеной. Он обнесен лишь проволочным ограждением. Эсэсовцы не могут здесь зверствовать, как в Освенциме, здесь все слишком на виду.

Германии нужны рабочие руки, и наш лагерь их даст. Три тысячи человек. Хотите, чтобы они работали как следует? Накормите их. И уберегите от всяких эпидемий вроде сыпняка или холеры, ведь это в интересах многолюдного Мюнхена, куда они могут перекинуться. Требуйте от нас только работы, тогда мы легко договоримся. Работы, и никакой муштры, маршировки, измывательства, как в прежних лагерях. Порядок внутри лагеря мы будем поддерживать сами, для этого среди нас есть опытные хефтлинки. Если отнять у них дубинки, они станут правильными ребятами. Есть у нас и свои доктора. Мы уговорим их не саботировать, не покрывать филонов, а, наоборот, помогать отправке людей на работу. В общем мы наладим наш лагерь так, что фюрер будет доволен. А мы зато будем живы.

Что есть на свете еще, кроме Гиглинга? Это узнают только те, кто выживет вместе со мной. Если, несмотря на нашу честную помощь, Адольф проиграет, нас [41] освободят союзники и мы, как бывшие заключенные, заживем неплохо. А если он выиграет, то, черт подери, не буду же я торчать тут вечно! Не может быть, чтобы я, Эрих Фрош, ариец из Вены, всю жизнь гнил в лагере из-за какого-то одного перепроданного вагона сала. Вздор! Человек с такой головой, как моя, никогда не пропадет, но, главное, мне будет неплохо и здесь.

Писарь направился к третьему ряду бараков, в дальний угол лагеря; там он вошел в дверь, над которой висела дощечка с красным крестом и надписью «Krankenrevier» <Лазарет (нем.)>. Пахло здесь, как в любом «мусульманском» бараке, да еще чувствовался резкий запах карболки. Эрих сморщил нос. — Старший врач! — окликнул он в темноте. — Оскар, где ты?

На другом конце барака, у самого окна, кто-то пошевелился.

— Ну что?

— Встань, Оскар, на минутку. Это я, Эрих. Есть о чем поговорить.

Врач вылез из-под одеяла. — Иду! — крикнул он.

— Привет, Эрих-бачи! — раздалось тем временем из-под одеяла на нарах справа.

— Это ты, Имре Рач? — пробормотал писарь. — Спи и не беспокойся.

Глаза Эриха привыкли к полутьме, и он различил под одеялами еще четыре фигуры. Лежавшие поочередно поздоровались с ним. Оскар, стоя в проходе, заправлял рубаху в брюки и подтягивал пояс.

— Случилось что-нибудь?

— Ничего, — успокоил его писарь. — Ну, поди же, а то мне пора в комендатуру.

Он повернулся и вышел на улицу. Доктор последовал за ним. Это был очень худой человек с грустными, глубоко посаженными глазами, тонким орлиным носом, большим, плотно сжатым ртом и выдающимся вперед подбородком. Еще в университете коллеги прозвали его «скуластый Брада», а теперь, когда лицо его сильно похудело, нижняя челюсть прямо-таки карикатурно выдвинулась вперед. [42]

Приземистый Эрих и тощий Оскар, венский колбасник и пражский врач, стояли друг против друга.

— Доброе утро, доктор. Сигарету? — писарь вытащил из кармана пачку, прислонился к передней стенке барака, чтобы их не увидел часовой на вышке, и протянул пачку Оскару. Доктор был страстный курильщик и, увидев целую пачку, не сдержал широкой улыбки. Он кивнул, взял одну сигарету и вынул спички.

— Возьми всю пачку, — прохрипел писарь. — У меня есть еще. Фриц вчера организовал на станции. — Фриц? — повторил Брада, и улыбка исчезла с его лица.

— Не начинай опять старую песню! — рассердился Эрик. — Сейчас есть другие заботы, кроме твоей вечной грызни с Фрицем. Сигареты мои, ты берешь их от меня, и точка. — Он сунул пачку в карман Оскара, потом небрежно распечатал другую и покосился на разинувшего рот доктора. Тот жадно глотал весь дым без остатка, а «великий Эрих» курил, не затягиваясь -резаное горло и слабые голосовые связки не позволяли, и заставлял себя курить только потому, что сигареты считались в лагере роскошью, а он, писарь Эрих Фрош, мог разрешить себе эту роскошь.

— Ну, что у тебя на сердце, Эрих, выкладывай, — сказал врач и зябко поежился.

Писарь выпустил клуб дыма и прошептал:

— Хочу потолковать с тобой откровенно. Староста лагеря — просто олух. Пусть холит свои усики и строит из себя прусского офицера, против этого мы не возражаем. Но настоящие хозяева лагеря — мы с тобой.

Врач смерил его взглядом. — Мы с тобой? Ты что, разыгрываешь меня?

— Да, мы с тобой, — повторил писарь и положил руку с сигаретой на плечо Оскару. — Вот послушай, Я знаю, какие инструкции получил наш рапортфюрер. Германия вступает в новую фазу войны. Меняется режим в таких лагерях, как наш. Забудь все, что ты видел в Дахау, Освенциме и где бы то ни было. Разве в Гиглинге концлагерь старого типа? Нет! Здесь не будет казарменного духа, эсэсовцы не станут соваться в бараки, а может быть, не появятся даже на апельплаце. Никакой муштры, никаких нелепых придинок из-за чистоты и всяких таких крайностей. Никаких подвалов, карцеров, [43] порок, виселиц или газовых камер. Никаких различий между заключенными. Ты чешский еврей, да еще политический. Очень

приятно. А я австриец и всего-навсего уголовник, но теперь на это наплевать. Цветные треугольники на рукаве мы, правда, еще носим, но, если хочешь, можешь его спороть, никто тебе слова не скажет. Тотальная мобилизация относится и к нам. У нас будет рабочий лагерь, а рабочим лагерем правят двое: один — это тот, кто заботится, чтобы людям было что жрать и чтобы у них была работа, — это я. А другой — тот, кто заботится, чтобы люди были здоровы и трудоспособны, — это ты. Согласен? — Погоди минутку, — сказал немного опешивший Брада. — По-моему, тебя провели. Сейчас я тебе отвечу, вот только отнесу окурочку товарищам. Мы всегда курим вместе.

Писарь не успел протестовать, Оскар вошел в барак и через минуту вернулся с одеялом на плечах. Он с сожалением заметил, как Эрих бросил недокуренную сигарету и затоптал ее ногой.

— Как это так: меня провели? — сердито сказал писарь, и шрам на его шее потемнел. — Идиот я, по-твоему, что ли?

Брада усмехнулся.

— Нет, боже упаси! — искренне возразил он. — Ты, по-моему, великий хитрец. Но я не верю ни в какую реальную перемену в отношении нацистов к нам. Ведь мы уже это слышали в Буне, нам твердили то же самое.

— В Буне, в Буне! — проворчал писарь. — Как можно сравнивать! С одного боку освенцимский лагерь истребления, а с другого — русский фронт. Нет, ты не сравнивай. А теперь...

В холодном синеватом небе вдруг затрещал реактивный самолет. Эрих и Оскар одновременно взглянули в сторону, где раздался этот звук, но увидели лишь серебристый след; самолет был уже много дальше, почти на самом горизонте.

— Вот и здесь все изменилось, — важно сказал писарь. — Новая фаза войны! Видал ты прежде такие самолеты? Видел ты их в этой своей Буне? Все теперь новое, приятель. Эти машины быстрее звука. Скажу тебе строго по секрету: ракетный двигатель! Снаряды с таким двигателем каждый день падают на Лондон, они [44] называются «Фау-1». Рапортфюрер утверждает, что подземные ангары, которые мы будем строить...

— Кто будет строить?

— Ну, мы все, наш лагерь. Если тебе неприятно думать, что мы помогаем Гитлеру выиграть войну, занимайся только своими, чисто врачебными делами. Помогай людям...

— Погоди-ка, Эрих, — прервал его Брада. — Ты вчера уже знал об этой новой фазе войны?

— Конечно, знал, — самодовольно усмехнулся писарь. — Я ведь бываю в комендатуре у начальства...

— А если знал, то почему же ты только сейчас говоришь об этом, а вчера категорически запретил нам, врачам, оказать новичкам медицинскую помощь.

Писарь опять положил руку на плечо Оскара.

— А ну тебя, Оскар! Докажи хоть раз, что ты не только умный, но и разумный человек. В том бедламе, который был у нас сегодня ночью, я не мог позволить тебе

заниматься больными. Вы бы только путались под ногами, создали неразбериху, уносили бы людей, и мы бы никак не могли сосчитать их. За это ты на меня не сердись. Ordnung muss sein <Порядок есть порядок (нем.)>. Когда речь идет о такой важнейшей вещи, как подсчет заключенных, твоя благотворительность неуместна. Сегодня — другое дело. Отныне у тебя свободные руки.

— Пеппи сказал, что на станции умерло шесть человек и на апельплаце четверо. А тех, кто выжил после этой поездки, вы до сих пор даже не накормили.

— Никак нельзя было. Рапортфюрер тоже жалел об этом....

— Рапортфюрер жалел?

— Жалел, даю слово, Оскар! — писарь взглянул на ручные часы. — Не позже чем через пять минут кухня начнет выдавать кофе, капо больше не будут бить мусульман, сегодня никого не пошлют на работу — после дороги все получают сутки отдыха. Чего тебе еще?

И действительно, со стороны кухни послышался сигнал к завтраку.

— Kaffee holen! <Получай кофе! (нем.)> — орал Мотика. — Weitergeben <Передай дальше (нем.)>. [45]

Писарь широко улыбнулся.

— Новая фаза войны, доктор. И у нас тоже новая фаза — в отношениях между конторой и лазаретом. Вместо войны — сотрудничество. Имей же терпение, подожди — и сам увидишь. Единственное, чего я от тебя пока хочу, — не ставь мне палки в колеса. И не забудь, что мы двое, ты и я, возглавим лагерь.

Пока Оскар и Эрих разговаривали, улочка между бараками стала оживляться: двери бараков открывались, из них выходили озябшие узники, торопливо направлялись к отхожим местам и так же торопливо возвращались обратно. Заметив у лазарета двух проминентов с повязками на руках, «мусульмане» почтительно обходили их стороной. Но по-настоящему лагерь оживился лишь после сигнала к завтраку. Изголодавшиеся люди только и ждали этого сигнала. Всюду распахнулись двери, и «штубаки», назначенные блоковыми, поспешили к кухне. Мотика все еще стоял у рельса, подвешенного на тресе, и бил в него железинкой.

— Kaffee holen! Weitergeben!

— Kaffee holen!

— Kaffee holen!

— Kafé au lait {6}! — зевнув, сказал Гастон, переведя этот призыв на родной французский язык.

— Kafe, vole {7}! — по-своему перевел чех Франтишек, по прозвищу Франта Капустка, которому блоковый четырнадцатого барака поручил принести кофе.

Феликс повернулся к соседу по нарам.

— Зденек, — с трудом сказал он, — если дадут хлеб, я не смогу его жевать. Возьми мою порцию и дай мне за нее дневную похлебку. Идет? — А что с тобой? Почему ты не можешь жевать?

Феликс показал на свою посиневшую щеку и объяснил, в чем дело.

— Свињи! — проворчал Зденек. — А ты узнаешь типа, который тебя ударил? Феликс грустно покачал головой. [46]

— Что мне от этого толку? Вот если бы тут был доктор...

Перед ним остановился блоковый.

— Was gibts? <В чем дело? (нем.)>

Зденек рассказал, что случилось с Феликсом.

— Можно мне отвести его к доктору?

— Это ты пел вчера, да? Сегодня нерабочий день. После кофе я вас обоих отведу в лазарет. Он тут, напротив. А этот бандюга врал насчет того, что для вас только одно отхожее место. Первый раз слышу.

Пришел Франта с ведерком кофе.

— Всем сесть по местам, — заорал блоковый. — У меня двадцать пять кружек, получать будете по двое. Хлеб раздадут через час, сегодня исключение, обычно вы будете получать его вечером. На четырех человек одна буханка. А сейчас — тихо!

В благоговейном молчании он откинул занавеску, отделявшую шестую часть помещения в глубине барака. Заключенные увидели с одной стороны удобное ложе блокового, с другой — фаянсовые кружки, в которые Франта уже разлил черную, подслащенную сахарином бурду. Потом он стал разносить ее узникам.

— Я бы предпочел подождать, пока будет гуща со дна, — с невеселой улыбкой сказал заключенный, получивший первую порцию, но нетерпеливо ухватил горячую кружку.

* * *

В душной кабине грузовика была приятная теплота. За рулем сидела дородная сорокалетняя фрау Вирт. Маленькая шоферская фуражка с помощью шпилек держалась на ее все еще русых волосах, собранных в большой узел. Эта фуражка придавала немке задорный вид, она походила на пышную субретку в старинном театре, переодетую солдатом. Щеки у нее и без румян были яркие. Если бы не плохие зубы и две золотые коронки впереди, она была бы еще красивой женщиной.

Голова коротышки Фрида, который сидел рядом с ней, едва доставала ей до плеча. Смуглой щекой он терся о грубое сукно ее форменной куртки и мурлыкал, как кот. Третий седок в кабине, охранник Ян из конвойной [47] команды лагеря, сидел с краю и клевал носом, держа карабин между колен.

— Турнфатер Ян [8](#) уже спит, — для проверки сказал Фриц чуть погромче и покосился направо. Конвойный даже не пошевелился. Фриц повернулся к соседке и подмигнул:

— Все в порядке, фрау Вирт, мы можем разговаривать.

— О чем же мне с вами разговаривать? — фрау Вирт глядела в одну точку, приняв неприступный вид. Но ответила она все-таки шепотом, чтобы не разбудить Яна. Игривый сосед справа занимал ее.

Фриц снова потерся головой о ее плечо и замурлыкал популярную немецкую песенку:

Все приходит и уходит,
Жизнь превратностей полна,
Мой супруг застрял в России,
И в постели я одна...

Фрау Вирт хихикнула.

— Это ж неприлично!

Фриц поднял голову и попытался дотянуться губами до ее покрасневшего уха, торчавшего из растрепанной прически.

— Неприлично, но правильно. К вам это тоже относится, фрау Вирт.

— Не относится, — тряхнула головой фрау Вирт, уклоняясь от его горячего дыхания. — Мой муж в России, это верно. Но это не значит, что моя постель свободна...

— Туда уже кто-то залез? — нахально шепнул Фриц.

— Вы басурман! — рассердилась Вирт. — Вы... цыган! Знаете, что вы цыган?

— Позвольте, фрау Вирт, не обижайте чистокровного немца. Будь я цыганом, я носил бы черный треугольник.

— Какое мне до вас дело? Ваш зеленый треугольник тоже не сулит ничего хорошего.

— Ах, фрау Вирт, -капризно возразил Фриц. — Вы — мать, как же вы можете так говорить! Мне [48] двадцать семь лет, из них восемь я торчу в концлагере. Когда меня посадили, я еще бегал в коротких штанишках гитлерюгендовца, ну, каким я мог тогда быть закоренелым уголовником, посудите сами!

Пышная блондинка с минуту молча глядела в одну точку. От выжидательного взгляда Фрица не укрылось, что глаза ее увлажнились.

— А вы не лжете? — спросила она мягко.

— Святая правда, фрау Вирт! Восемь лет в лагере! Без материнской ласки, без женской любви.

— А может быть, все это к лучшему? — прошептала фрау Вирт. — Вид у вас здоровый, руки, ноги целы. Кто знает, где бы вы лежали мертвый, если бы вас не упрятали в концлагерь? У меня двое сыновей, много моложе вас, и оба уже на фронте.

Фриц прикинулся пораженным.

— Двое взрослых сыновей, вы говорите? Быть не может! У такой красотки!

Грузовик с хлебом медленно двигался к Гиглингу, и маленький Фриц старался завязать более тесную дружбу с дородной фрау Вирт. Сегодня она позволила положить левую руку на ее колено и отдала ему свой скромный завтрак, но на будущее обещала больше.

— Разгружать хлеб! — закричал часовой у ворот, пропустив машину, которая въехала в глубину лагеря. — Абладекоманда!

Абладекоманда, группа для разгрузочно-погрузочных работ, состояла из четырех закадычных дружков Фрица, «зеленых немцев», ловких *организаторов* — Зеппа,

Коби, Пауля и Гюнтера. Им часто приходилось иметь дело с провиантом и отлучаться из лагеря по хозяйственным делам, на них не распространялись правила трудовой дисциплины. Сейчас они наперегонки устремились к грузовику и выстроились у борта машины.

Из кабины не спеша вылез конвойный Ян, за ним ловко выскочил Фриц. Фрау Вирт, не выходя из кабины, следила за Фрицем благосклонным взглядом. Когда малорослый красавчик исчез из виду, она перевела взгляд... и вдруг страшно перепугалась. Около кухни бродила кучка каких-то страшилищ. Неужели это люди? Грязные, худые, как скелеты, кожа да кости, глаза, как плоски. Головы у всех острижены наголо, уши торчат, обувь, видимо, всем им велика. Страшилища едва [49] волочат ноги... Они похожи на вялых зимних мух, ползающих между оконными рамами... Неужто это заключенные? Но ведь Фриц выглядит совсем иначе: чистый парень, с лихим темным чубом, широкоплечий, крепкий, сплошные мускулы. Сегодня она наблюдала, как он грузил хлеб — с четырьмястами пятнадцатью буханками управился вмиг, один, своими короткими волосатыми руками.

Фрау Вирт покачала головой, в которой были бог весь какие мечты, и заставила себя смотреть на похожих на мух людей у кухни, боязливо поглядывавших на автомашину. В этот момент в поле ее зрения появился Фриц. Держа в левой руке камни, он принялся швырять их в этих людей. Глаз у него был верный, и он несколько раз метко попадал. Люди пустились наутек, стараясь скрыться за углом. Один из них смешно споткнулся и растянулся на земле. Фриц подскочил к нему, схватил его одной рукой за штаны, другой за воротник, донес до края дороги и отбросил в сторону, после чего выразительно вытер руки. Потом, усмехаясь, повернулся в сторону грузовика: какое впечатление он произвел на шофера?

Фрау Вирт сидела за рулем и качала головой, словно говоря: «Нет, нет!» Фриц по-мальчишески пожал плечами и крикнул:

— Это же всего-навсего дурацкие жида!

Но Вирт не переставала качать головой.

«Негодяй, — испуганно думала она, — если он завтра же толком не объяснит мне всего этого, видеть его больше не желаю!»

— Achtung! — закричал часовой у ворот

— Achtung! — прокатилось по лагерю.

— Achtung!

В лагерь вошел сам комендант, рапортфюрер герр Копиц.

4.

У эсэсовца Копица был такой же низкий, унтер-офицерский чин, как у его закадычного дружка Дейбеля, — всего-навсего обершарфюрер, но по должности рапортфюрера он отвечал за весь лагерь. В отличие от стройного и даже щеголеватого Дейбеля Копиц в своем плохо [50] сидящем обмундировании походил на неотесанного деревенского дядюшку. Фигура у него была нескладная, ноги короткие, широкие штанины гармошкой свисали на сапоги, зато рукава френча едва достигали запястья, открывая красные ручищи. Френч едва сходил на нем и, казалось, вот-вот лопнет по швам, шеи совсем не было, жирный

подбородок и мощный затылок нависли на воротник. Дышал Копиц с трудом, сильно потел, особенно плешь под фуражкой. Из рта у него торчала фарфоровая трубка с изображением оленя. Щеки у рапортфюрера были круглые, глаза маленькие, с хитринкой.

Благосклонно улыбнувшись, он взглянул на писаря Эриха, который со всех ног спешил к нему, и когда тот вместо обычного рапорта прозондировал почву неформальным «Доброе утро, герр рапортфюрер!», Копиц молча замигал и продолжал шагать.

Писарь семенил за ним в двух шагах и размышлял: что же такое случилось? Ранний приход коменданта ему очень не нравился. И чем больше этот толстяк улыбался, тем меньше доверял ему Эрих. Мысленно он с облегчением вздохнул, вспомнив, что, слава богу, своевременно припрятал бутылку шнапса в надежное место. Но все же писарь чувствовал себя неуверенно. С какой стати Копиц с утра появился в лагерь? Почему он не подождал рапорта у себя в комендатуре, куда Эрих уже собирался, как обычно?

Копиц остановился у конторы.

— Выстроить на апельплаце весь лагерь, — приказал он Эриху. — Даю тебе десять минут сроку, Los! <Начинай! (нем.)>

— Что-нибудь случилось? — вырвалось у писаря.

— Молчать! — усмехнулся Копиц и мигнул. — Девять минут!

— У нас тут сплошь новички, герр рапортфюрер... разрешите доложить... Они совсем еще не знают порядков. Так быстро не выйдет...

— Замолчишь ты или нет! — рявкнул Копиц.

— Слушаюсь, — выпалил писарь и побежал к проминентским баракам. «Сволочь этакая! — думал он на бегу. — Не может без горячки. Это, по-твоему, концлагерь нового типа?» Он ворвался в барак и закричал: [51]

— Achtung! — Проминенты еще валялись на нарах, ведь сегодня был объявлен нерабочий день. — На апельплац! Немедля на апельплац все до одного! Быстро!

Искушенные «старички» поняли, что писарь не переполошил бы их зря, и бросились к нему.

— А где ваши палки? — хрипел писарь. — Почему с голыми руками?

Палки? Проминенты переглянулись. Он сказал «палки»? Но писаря уже не было, он поднимал на ноги второй и третий проминентский бараки, потом послал ребят из первого барака в землянки первого ряда, приказав им немедленно вывести на апельплац всех заключенных, слышите, всех! «Даю вам пять минут. Los!» Проминентов из двух других баракон он послал по остальным землянкам.

Кто-то побежал на кухню, где еще разгружали хлеб, и начал бить по рельсу и до хрипоты орать: «Все на апельплац! Передавайте дальше!»

Все на апельплац!

Рельс звенел, абладекоманда бросила работу у грузовика, конвойный Ян глядел во все глаза, чтобы в переполохе не стащили буханку хлеба. Фриц сделал фрау Вирт кислую мину: вот, мол, какие у нас порядочки — и тоже побежал, но не на

апельплац — он ведь не какое-нибудь стадное животное. Он пробрался за кухню и оттуда осторожно приблизился к заднему окну конторы. Надо же выяснить из первоисточника, в чем дело.

«Волки» тем временем вбегали в бараки и выгоняли всех вон. «Привезли уже хлеб? Мы идем получать хлеб?» — спрашивали изголодавшиеся «мусульмане». «Волки» сперва не знали, что отвечать, но потом, заметив эту готовность бежать куда угодно за миражем еды, стали кричать:

— Да, да, выдают хлеб! Все на апельплац! Кто не явится немедленно, ничего не получит!

Аврал достиг и лазарета.

— На апельплац, лекари! — заорал Карльхен, появляясь в дверях и размахивая палкой. — Вы — старички, что ж вы не помогаете гнать мусульман на перекличку?

— Сегодня день отдыха. И никаких палок, — сказал Оскар, стиснув зубы. «Неужто Эрих разыграл меня, [52] или он действительно так поглупел, что попался на удочку нацистов, поверил им?»

Фриц заглянул в заднее окно конторы. Койки были пусты, одеяла наброшены кое-как, в конторе ни души. Фриц побежал к двери и чуть не столкнулся со старостой Хорстом, выбегавшим из конторы.

— Что тут такое творится, Хорст? — спросил Фриц, хватая старосту за рукав.

— Не знаю. Какая-то заваруха.

— Может быть, мы засыпались? Вчера...

— Не знаю, пусти! — грубо отрезал Хорст и побежал.

Фриц посмотрел ему вслед.

— Тебе позволили носить пижонские усики, но это не пошло тебе на пользу, — прошептал он злобно. — Ладно, я позабочусь о том, чтобы их поскорее опять сбрили.

Первыми на апельплац прибежали «мусульмане», за ними «волки». С палками в руках они стали наводить порядок. Раздалась команда: «По пяти стройся!» Никто не знал, что будет дальше, но на всякий случай люди были построены в шеренги, а затем в колонны из десяти или двадцати рядов.

Староста лагеря провел ногой на земле черту, где должна быть голова колонны. Карльхен и ребята из абладекоманды сразу смекнули, в чем дело, подбежали к нему и, расставив руки, заорали на «мусульман», показывая им, куда надо подойти.

— Эй, эй, шевелись, дерьмо!

Шеренги по пяти! Писарь выбежал из конторы и начал пересчитывать их.

Пятьдесят человек, сто... «Стойте, не шевелитесь, не то...»

Пятьдесят, сто...

Из барачков, чуть не плача, выбегали последние «мусульмане», «волки» подгоняли их пинками. Из уборной выгнали человека, который даже не успел подтянуть штаны. Пятьдесят, сто...

— Проминенты, сюда! — орал староста Хорст. — А для лазарета закон не писан?

— Мы здесь, — пробурчал Оскар от лица своей пятерки — четырех врачей и санитаря Пеппи.

Теперь, видимо, весь лагерь, до одного человека, собрался на апельплаце. Писарь побежал обратно в контору и, заметив Фрица, крикнул ему: [53]

— Нау аб! <Катись! (нем.)> Становись в строй, иначе я ни за что не ручаюсь!

Фриц пожал плечами, пружинистой походкой подошел последним к группе «старичков» и стал в строй.

Писарь вошел в контору. За его столом сидел ээсовец Копиц, карманным ножом отрезал ломтики хлеба и отправлял их в рот. Перед ним на промасленной бумаге лежала ливерная колбаса. В конторе никого не было. Эрих вытянулся в струнку. Толстяк Копиц продолжал жевать.

Писарь украдкой поглядел сначала в окно на апельплац — там, видимо, все было в порядке, — потом на лоснящийся подбородок Копица. Собравшись с духом, он кашлянул и опять вытянулся.

— Нагнал я на тебя страху, а? — ехидно покосился Копиц на писаря, сдирая зубами кожу с колбасы.

— Точно так, герр рапортфюрер.

Ээсовец довольно усмехнулся.

— Пришлось вас немного припугнуть, показать вам вот эту штуку... — он поднял кулак, но тотчас опустил его и опять взялся за хлеб. — Дело серьезное: к завтрашнему дню мы должны построить три новых барака и отхожее место и все это огородить. Поэтому я отменяю сегодня день отдыха и прочее. Шнапс у тебя есть?

Эрих и глазом не моргнул. Разве можно верить этому борову?

— Никак нет, герр рапортфюрер, — твердо ответил он.

— Куда ж ты годишься? — хихикнул Копиц, дожевывая колбасу. —

Организационная беспомощность. Вызови-ка сюда Фрица, он половчее тебя, у него всегда есть...

Секунду писарь колебался, потом шепнул:

— Можно не звать Фрица. Я вспомнил, что и у меня кое-что найдется...

Он кинулся за занавеску, порылся там и вернулся с бутылкой и рюмкой. Поставив их на стол, он отступил на три шага и прохрипел: «Прóзит! На здоровье!»

— Вот видишь, какие вы все! — громко рассмеялся Копиц. — Добром от вас ничего не добьешься, нужна плетка. [54]

— Разрешите доложить, — осмелел писарь, — что я, собственно, всегда... Ведь вы, герр рапортфюрер, знаете...

— Ты не любишь Фрица, — смеялся Копиц, — и не хотел дать ему возможность услужить мне.

— Я против него ничего не имею. Старший врач с ним не ладит, а не я. Фриц в очень хороших отношениях с обершарфюрером герром Дейбелем. Поэтому я с ним всегда настороже...

— Это еще что такое? Ты нас хочешь поссорить, писарь?

— Разве я посмел бы, герр рапортфюрер? От вас я ничего не таю, говорю, что думаю. Фриц меня именно потому и невзлюбил, что я ваш человек.

Копиц был в отличнейшем настроении. Он налил себе первую рюмку.

— Так, значит, ты мой человек, писарь? Что ж, прóзит! — он опрокинул рюмку, передернулся и поперхнулся. — Хороший шнапс. — Потом провел рукой по губам и сказал с хитрецей: — По твоей теории выходит, что и Оскар мой человек. А?

Эрих заговорил, глядя перед собой.

— Должен быть вашим, герр рапортфюрер. Писарь и старший врач — неплохая комбинация, разрешу себе заметить. Он хоть и еврей, но хороший доктор, его все уважают. Ваши планы насчет рабочего лагеря, нового духа и прочего я мог бы быстро осуществить именно с его помощью. Он политический и довольно отсталый, это я понимаю, но, если он будет знать, что заключенным станет легче, он начнет помогать нам.

— А разве заключенным живется плохо? — Копиц сделал большие глаза и налил себе еще рюмку.

— Отнюдь нет, — ответил писарь уже много смелее. — Я только думал, что в связи с новыми инструкциями, о которых вы мне говорили...

— Инструкции есть, они в силе... Но, кроме того, еще... - Копиц опрокинул в себя вторую рюмку и опять передернулся, — вдруг, ни с того ни с сего, сверху пришло распоряжение: к завтрашнему дню должны быть готовы три барака, отхожее место и забор, иначе... Что было делать, скажи? Мне, может быть, даже жалко вас, но приказ есть приказ... Эту бутылку ты убери, потом принесешь ее мне, когда придешь с рапортом. А сейчас устроим общий сбор, разделим людей на рабочие [55] бригады — землекопов, бетонщиков, плотников и так далее. Возьми-ка бумаги, приступим сразу к делу. Знаешь, о каких бараках идет речь? О тех, что на плане обозначены в нижнем левом углу, сразу за конторой, понятно? Землемеры давно уже вбили там колышки, так что можно сразу копать канавы. Где будет отхожее место, ты тоже знаешь. Готовые части бараклов сложены около лагеря. Потом мы эти три барака отгородим от остальных забором, без электрического тока, а просто из колючей проволоки, но надежным. А здесь, направо, у самой конторы, будет калитка. Понятно?

— Понятно. Вроде как бы лагерь в лагере. Могу ли я знать, для кого он предназначен?

— Нет, не можешь. — Копиц встал и подтянул френч на животе. — Если понадобится, проработаете всю ночь. С вышек будут светить прожекторы. Los!

— Разрешу себе обратить ваше внимание на то, что новички еще не получили хлеба.

— Schön gut <Очень хорошо (нем.)>. Пусть поработают, потом пожрут. Или, если хочешь, можешь раздать им хлеб после формирования бригад. А теперь ни слова больше! — Копиц опять ехидно подмигнул и вышел из конторы.

На апельплаце действительно выстроился весь лагерь до единого человека. Как только дверь конторы открылась, староста Хорст гаркнул: «Achtung! Шапки

долой!» — и все шапки одновременно хлопнули о брюки. На мгновение воцарилась почти торжественная тишина, где-то за оградой раздалось короткое троекратное попискивание синицы, его слышал весь лагерь, стоя навтыжку. Небо было синее, чистое, по его просторам тянулась белая полоса, уже размазанная ветром, — пролетел реактивный самолет.

Теперь и Хорст сорвал с себя шапку и, топая по гравию, побежал к эсэсовцу, который медленно шел к апельплацу. В двух шагах за ними следовал писарь с папкой. Хорст вытянулся в струнку и гаркнул:

— Староста лагеря заключенный номер шестьдесят восемь два тридцать восемь рапортует, что весь наличный состав лагеря выстроен на апельплаце. — Рапортовать Хорст умел мастерски, как настоящий прусский офицер. — Подлежит явке тысяча шестьсот сорок [56] два заключенных, явилось тысяча шестьсот сорок. Отсутствуют двое, причина — смерть, сегодня ночью в бараках.

— Вот видишь, — Копиц, хитро улыбаясь, обернулся к писарю. — А ты говорил: невозможно, новички, мол, не знают порядков. Я лучше знаю, что возможно, что невозможно. А фюрер знает еще лучше. Начинай!

Хотя предстоявшая работа была не нова и строительная команда уже имела основательный опыт в постройке бараков и заграждения, комплектование рабочих бригад заняло почти час. Бесконечно долго выясняли, кто что умеет и сколько потребуется квалифицированной и подсобной рабочей силы. А в основном ждали новых разъяснений и распоряжений Копица, но так и не дождались.

Голодный и жаждущий снова имели возможность прикинуть, к какой специальности выгодно примкнуть, а к какой нет. Во-первых, возник вопрос: можно ли человеку, который ночью объявил себя портным, записаться сейчас, например, клепальщиком? Ночью, правда, записывали фамилии, но, может быть, теперь не докопаются до этого? Из всех ремесел, которые сейчас регистрировали, профессия клепальщика, по-видимому, самая выгодная. Клепальщиков, наверное, пошлют на завод. А бетонщики? Зима на носу, не трудно представить себе, чего натерпится на стройке плохо одетый узник. Говорят, что бетонщик — это квалификация, но, по сути дела, просто орудуешь лопатой, просеиваешь песок, перемешиваешь бетон... Нет, уж лучше не надо, я этим два года занимался в Терезине.

В общем, жаждущий ушел записываться клепальщиком, но их оказался избыток, и его бесцеремонно прогнали.

Голодный с самого начала рассуждал иначе. «Я даже толком не знаю, как работает клепальщик, — сказал он с унылой улыбкой, — видимо, клепают что-нибудь... Уж лучше я скажусь больным».

Больными сказались многие. Никто из капо им уже не верил, и «мусульмане» стали терять сознание от голода и истощения.

Потерял сознание и Феликс, который все время отчаянно жался к Зденек. Зденек и еще один заключенный взяли Феликса под руки и оттащили в сторону, где уже лежало с десятков потерявших сознание узников. Врач [57] венгр, маленький, седоватый и розовощекий — все называли его Шими-бачи, — нагнулся над Феликсом и приподнял ему веки. Заметив, что у Феликса посинела щека, он спросил, отчего это. Зденек быстро ответил и побежал на свое место, потому что

уже приближался Карльхен с палкой.

Целый час апельплац кишел, как разрытый муравейник. Сформировывались и перекомплектовывались бригады, сотня начальников орала: «Быстрее, живо!» — тысяча перебрасываемых с места на место и подталкиваемых людей слабо протестовали, дубинки гуляли по спинам, плечам и рукам, узники испуганно шарахались в стороны, расстраивая шеренги, а с другого края кто-то уже выравнивал строй, тоже действуя дубинкой.

Из проминентов никто не знал, в чем, собственно, дело. Знали только Копиц и писарь, но они ничего не объясняли и лишь требовали беспрекословного повиновения и быстрого формирования рабочих бригад. Их распоряжения передавались заключенным довольно медленно, так что рапортфюрер и писарь иной раз успевали забыть о собственном приказе или считали его уже ненужным и потому страшно сердились на капо, которые не проявляют никакой инициативы в таком простейшем деле. Оба, вздыхая, повторяли, что без них тут не обойтись и пяти минут: если всех этих «старичков» и «новичков» предоставить самим себе, они станут просто-напросто стадом безмозглых обезьян.

Для битых и понукаемых была важна и еще одна сторона этого дела. Никто из них не знал, сортируют их сейчас для временной и краткосрочной работы или для постоянной. Ведь с каждым уже десятки раз случалось, что его вот так же включали в какую-нибудь бригаду или команду, уводили куда-то и навсегда отрывали от брата или близкого друга.

Старый Качка, крупный черноволосый мужчина, не называл никакой специальности, а только жаловался и твердил, что он болен. Его послали к землекопам. Его сын, юный Берл, с плачем кинулся за ним, крича, что пойдет тоже. Голландец Дерек, который распоряжался землекопами, был и без того недоволен, что ему подсовывают хворых. Когда к нему сунулся Берл, Дерек замахнулся на него палкой и погнал паренька обратно. Капо Карльхен, который ничего не упускал из виду, [58] оказался тут как тут. Схватив голландца за рукав, он прошипел: «Если ты этого парня обидишь, я тебя убью!» — и хотел увести Берла. Дерек даже глаза вытарашил: Карльхен, свирепейший капо в лагере, вступает за «мусульманина»! Но юный Берл воспротивился своему покровителю, вырвался от него и побежал к отцу, которого нарочно называл братом, чтобы того не сочли слишком старым, а его самого слишком молодым.

— Оставьте меня с братом! — отчаянно кричал он. — Не уйду от брата!

Почти час продолжалась эта бестолковщина, полная недоразумений и вольных и невольных жестокостей. Всем распоряжался, бегая туда и сюда, сердитый, нетерпеливый, побагровевший писарь. Писаря поторапливал почти неподвижный Копиц с фарфоровой трубкой в зубах. Ехидными глазками он поглядывал на всю эту сумятицу, но видел только первые шеренги и какую-то возню в задних рядах да изредка взметнувшийся кулак или дубинку. Когда Копицу показалось, что хаос превратился в относительный порядок, он извлек из внутреннего кармана большие никелированные часы.

— Скоро девять, писарь, — благодушно проворчал он. — Самое трудное — организацию всего дела — я тебе обеспечил. Остаются пустяки. Все оказалось не так уж трудно, несмотря на то, что у нас тут сплошь новички. Завтра я приду сюда в это же время, то есть в девять часов утра, и увижу здесь три новых барака с

отхожим местом и забором. А если не увижу, берегись, не сносить тебе головы! — мундштуком трубки он провел по шее и уточнил: — Чирик!

— Слушаюсь, герр рапортфюрер, и спасибо за помощь, — прохрипел писарь и щелкнул каблуками.

Копиц покосился на покрасневший шрам на его шее и добродушно усмехнулся.

— Все равно быть тебе в руках палача: уж очень удобно тебе рубить голову по этой метке. Итак, имей в виду.

— Так точно, герр рапортфюрер! — повторил писарь, и в его глазах под стальными очками мелькнула довольная улыбка: он уже понял, что угроза миновала, дело кончится благополучно, и даже весь утренний переполох в конце концов не такая уж беда. [59]

5.

Едва коротконогий Копиц, семеня, вышел за ворота, в лагере опять началась относительно нормальная жизнь. Когда утихли окрики «Быстро, живо!», писарь велел людям сесть на землю и спокойно ждать раздачи хлеба. Повар Мотика, его помощник, глухонемой Фердл, и четверо уголовников из абладекоманды пошли закончить разгрузку хлеба. Через минуту конвойный Ян уже сел в кабину и сказал: «Поехали». Фрау Вирт, разозлившись на задержку, из-за которой ей придется переработать вечером целый час, даже не удостоила взглядом Фрица, махавшего ей на прощание. Она так спешила, что по дороге к воротам не взглянула направо, на апельплац, полный человекообразных, голодных, черных «мух». Около комендатуры Ян вышел из машины, и Вирт дала полный ход, чтобы поскорей вернуться в мюнхенскую пекарню.

В кухне резали буханки на четвертушки и наполняли ими корзины. Тем временем писарь созвал у себя в конторе совещание штаба лагеря. У его стола собрались грек Фредо, француз Гастон, немцы Хорст, Карльхен и Фриц, голландец Дерек и чех Брада. Председательствовал австриец Эрих, сегодня особенно важничавший, так как только он знал, какую работу предстоит выполнить лагерю в ближайшие сутки. Эрих изо всех сил использовал это преимущество, очень скупно и медленно сообщал суть дела, а сообщив, сделал вид, что знает куда больше, но — сами понимаете, друзья, — не может больше ничего сказать...

Порядок работ был ясен. Прежде всего надо подумать о насущных нуждах лагеря: повар должен варить еду, в кухню надо доставить картошку и послать туда пятнадцать подсобников, тотенкоманда должна вывезти из лагеря и похоронить шесть трупов, которые лежат в мертвецкой. Тотенкоманда уже скомплектована из пятерых испанцев во главе с Диего Перейра. Теперь о стройке. На площадках, обозначенных колышками, в левом углу лагеря, к завтрашнему дню, точнее к восьми утра, должны стоять три землянки и отхожее место. Они будут отгорожены особым забором с калиткой. Вот и все. За землянные работы отвечает Дерек, он немедленно начнет рыть канавы для землянок и яму для отхожего [60] места. Абладекоманда обеспечит доставку готовых частей бараков со склада на место стройки. Карльхен возьмет на себя их сборку и плотничьи работы. Для бетонных работ у нас есть опытный строитель поляк Казимир. Фриц сделает электропроводку, Гастон обеспечит снабжение стройки инструментом, проводами, изоляторами, гвоздями, цементом и всем прочим. Общее наблюдение за всей

стройкой лежит, разумеется, на старосте лагеря Хорсте, особенно за постройкой забора, для чего будет выделена специальная бригада. Рабочую силу распределяет арбейтдинст Фредо. Все ясно?

Первым отозвался Фриц.

— Все, кроме того, почему здесь среди нас сидит носатый Оскар. Чем, собственно, займется этот проминент?

Подбородок старшего врача выдвинулся еще больше, Оскар молчал, но заметно было, как он стиснул зубы.

— Фрицхен, — проворчал писарь, — сейчас не время ко всему цепляться. Интересно отметить, что и герр рапортфюрер сегодня особо упомянул о нашем докторе... — Оскар метнул на Эриха недоверчивый взгляд, но тот не смутился и продолжал торжественным тоном. — Честное слово, он говорил о нашем докторе. По новым инструкциям, о которых вы все уже знаете, рабочий лагерь прежде всего обязан работать, а его обитатели должны быть здоровы и не грызться между собой. Понятно? — Писарь угрожающе стукнул кулаком по столу. Он хотел говорить невозмутимо и свысока, но не сдержался. — А Фриц опять начинает задирать, хотя только что, когда рапортфюрер появился в лагере, он чуть не обделался от испуга, решив, что будут расследовать его вчерашнее...

— Это к делу не относится, — прервал его Хорст. Староста был горд, что возглавляет лагерь и у него даже есть свой штаб, и ему хотелось, чтобы разговор шел, как в настоящем штабе. — Я согласен с писарем, что мы должны напрячь все силы и справиться с трудным заданием. Мы его наверняка выполним, камарады! В решающие дни, когда над Германией нависли грозные тучи... — Он сказал еще несколько таких же фраз в стиле прусского офицера, обращаясь к солдатам.

Фриц, старый выкормыш гитлерюгенда, прошипел в наступившей тишине:

— И при таких-то явных фюрерских способностях ты уступаешь инициативу этому бумагомараке? А почему [61] вообще здесь не решает только староста лагеря? Почему тон задает какой-то писарь и его дружок Оскар?

Хорст погладил усики и сказал веско:

— Заткнись. Никто не сомневается, что на территории лагеря единственный начальник — это я. Писарь действует с моего согласия и занимается только организационными делами, потому что он ежедневно бывает в комендатуре. Не так ли, Эрих?

— Разумеется, староста!

— «Разумеется, староста», — имитировал разъяренный Фриц хриплым голосом писаря. — Разумеется! Каждый дурак знает, что этот староста не был бы старостой, если бы его не выдвинул великий Эрих Фрош. Руководство у нас подбирается так: во главе ставят ничтожество, чтобы тот, кто пониже, мог вертеть всем...

— Молчать! — одновременно крикнули Хорст и писарь с такой синхронностью, что оба, усмехнувшись, воззрились друг на друга. «Вот вам, пожалуйста, — говорили эти взгляды, — болтайте после этого, что меж нас нет полного согласия!»

— Mes amis <Друзья мои (франц.)>, — сказал вдруг грек Фредо, поднимая глаза от бумажки с цифрами, на которую он сосредоточенно глядел, всем своим видом

давая понять, что у него нет времени прислушиваться к пререканиям немцев. — Что-то у меня не получается... Три барака, одно отхожее место, один забор. И тысяча пятьсот рабочих, c'est une bêtise <это же просто ерунда (франц.)>.

— Ну, что, что еще? — нетерпеливо проворчал писарь. — Рапортфюрер приказал...

Фредо устремил на него невозмутимый взгляд карих глаз и чуть приподнял руку. Писарь умолк, но его шрам покраснел еще больше.

— Я подсчитал, — продолжал Фредо, — а если я ошибся, вы меня поправите, что вся строительная площадка составляет триста восемьдесят пять квадратных метров. Если поставить на каждый метр по четыре человека... — Фредо кашлянул в ладонь, — они просто перебьют друг друга кирками...

Пока немцы препирались, Гастон тщетно старался подавить улыбку. Заговорил Брада, до которого, очевидно, не дошла тонкая ирония Фредо: [62]

— Тут сказали, что я слишком много говорю, хотя я в основном молчал. Дайте-ка я сейчас выскажусь, чтобы герр Фриц оказался прав.

С минуту он говорил довольно сбивчиво, пока не перешел к тому, что волновало его больше всего.

— Послушаешь тут вас всех — хочется схватиться за голову и спросить: «С ума они сошли, что ли?» На апельплаце ждут люди, которые не ели уже трое суток. А вы тут спорите не о том, как сохранить им жизнь, потому что четверка хлеба их не спасет, — нет, вы грызетесь между собой и стараетесь провести друг друга, а главное тех, что ждут там, на апельплаце...

— Пардон, — сказал Фредо и поглядел Оскару в глаза. — Не все!

— Не все, — отозвался в унисон ему и Гастон. Оскар рассердился было, что его перебивают, ему хотелось сказать что-то резкое. Но потом до его сознания дошло, что Фредо и Гастон, собственно, сказали очень правильные слова и таким тоном, в котором было не возражение ему, а скорее поддержка. И Оскар, чуть опустив подбородок, продолжал более дружелюбно:

— Вы меня знаете, я немного вспылчив. Но я не хотел рубить сплеча и всех стричь под одну гребенку. И все-таки вы тут не правы. Эрих верит эсэсовцам: мол, меняется дух лагеря. А потом тот же Эрих, как я убедился, сам велит проминентам гнать мусульман дубинками. Копиц хочет срочно строить забор внутри лагеря, а вы из кожи вон лезете, чтобы выполнить его приказ, спорите о том, как все это получше организовать, и ни один из вас не задается вопросом: а зачем нужен этот забор? Я вам скажу зачем: там будет штрафное отделение, «дисциплинарка», как во всех лагерях! Вот вам и новый дух лагеря, вот чего он стоит!

Подбородок Оскара опять выпятился и вздрагивал от волнения. Врач искренне беспокоился за полторы тысячи узников, оставшихся на апельплаце, к тому же ему нелегко было точно выражать свои мысли по-немецки. Он не умел дипломатически маневрировать, как Фредо, и его раздражало присутствие головореза Фрица. Все это усиливало волнение Оскара.

— Ох, уж этот наш Оскар! — заговорил Эрих. — Это так на него похоже! Вечно паникует, волнуется, подозревает кого-то. Все мы знаем его характер, потому и не [63] сердимся. В конце концов на то он и доктор, чтобы тревожиться о здоровье

людей. И пусть тревожится. Новый дух в лагере будет, я не вру, камарады, и этот неугомонный Оскар нам очень пригодится. — Писарь выдавил из своего горла смешок, но никто не подхватил его. — Главная наша задача сейчас — это поставить новый лагерь на ноги. Нам не грозит никакая «дисциплинарка», никакой карцер, порка или виселица — об этом герр рапортфюрер сказал мне вполне определенно. От нас требуют построить новый забор? Что ж, мы построим. Вы не знаете, зачем это нужно, а я знаю, но пока не могу сказать. Вот возражение Фредо более серьезное. Он, конечно, прав, и, я уверен, вы не считаете меня таким ослом, который не подумал об этом заранее. — Снова неловкий смешок, и опять никакого отклика. — То есть о том, что полторы тысячи человек просто передавили бы друг друга на этой площадке... Проще всего было бы запереть новичков в бараки, пусть себе дрыхнут, а всю работу поручить старой стройкоманде. Она бы, наверное, даже скорей управилась. Но рапортфюрер решил использовать всех прибывших, не спорить же мне с эсэсовцами. Мы выйдем из положения иначе: бригады, которые он сформировал, разделим на несколько смен и пустим на участок как можно меньше новичков в один прием. Скажи откровенно, Фредо, разве я не говорил тебе об этом еще на апельплаце, когда мы составляли списки?

— Да, припоминаю, — примирительно сказал грек, чтобы поддержать престиж писаря. Но тот настолько проникся верой в свою прозорливость, что даже не воспринял слова Фредо как ложь.

— Вот видите, — продолжал он довольным тоном, — даже ловкачу греку пришлось признать, что ему не угнаться за мной.

Открылась дверь, и в контору заглянул капо абладекоманды Зепп.

— Хлеб расфасован, господа!

Эрих был рад, что их спор прервали. Он потер руки и воскликнул:

— Отлично! Теперь остается обеспечить правильную раздачу хлеба, чтобы никто не урвал лишней порции, а потом начнем работу. Дерек, твои землекопы получают завтрак первыми. Есть еще какие-нибудь замечания? — он обвел взглядом собравшихся. [64]

Оскар поднял руку.

— У меня, Эрих. Доктор Шими-бачи доложил мне, что сегодня утром, перед побудкой, какой-то проминент дал пощечину чеху из четырнадцатого барака. Просто так, ни за что ни про что. И при этом сломал ему челюсть. — Оскар провел рукой по щеке, показывая, что произошло. -Повреждение пустяковое, но предупреждаю вас, что пострадавший не выживет. Жевать он не может, челюсть срстется не скоро, питательной жидкой пищи у нас нет, и пациент попросту умрет от голода. Я настаиваю, — подбородок Оскара опять дрогнул, и врач уперся взглядом в глаза писаря — на том, чтобы виновник был наказан как убийца и чтобы с побоями было наконец покончено.

— Ты кончил? — нетерпеливо спросил писарь. — Ну и хорошо. Чтобы ты знал, что мои слова о новом духе лагеря — чистая правда, обещаю тебе здесь, перед всеми, что все будет по-твоему: обидчик понесет наказание, проминенты получают предупреждение, с дубинками покончено. Честное слово! Но только завтра. Вот построим эти бараки, получим свободный день — не смейтесь, завтра мы его наверняка получим! — и тогда все устроим. Будешь доволен, Оскар!

* * *

Раздача полутора тысяч порций хлеба тут же, под открытым небом, была нелегким делом. Писарь с облегчением подумал о том, что у проминентов пока еще есть в руках дубинки; он был твердо уверен, что в противном случае голодная толпа вырвала бы корзины с хлебом из рук повара.

Жующие люди группами расположились на земле. Среди них прохаживался Хорст. — Хлеб съедайте весь, не создавайте соблазна для воров, — поучал он. — Старая лагерная примета гласит: кто не съест сразу выданный хлеб, тот недолго проживет в лагере. — Он остановился около узника, который, прикрыв глаза, сидел на земле и держал в руках свою порцию хлеба. — А ты почему не ешь?

Феликсу было трудно говорить. Он показал на посиневшую щеку и прошептал: — Челюсть сломана...

— Ага, — с важным видом кивнул Хорст, — так это ты [65] и есть тот самый пострадавший? Я слышал об этом безобразии. Мы примем меры, твой случай будет расследован.

И он продолжал свой обход.

Феликс поглядел на ломоть хлеба в руке, и слезы снова потекли у него по щекам. «Почему это случилось со мной? Почему?»

Он отщипнул кусочек мякиша, но хлеб был старый и черствый, даже шарик невозможно было скатать из такого мякиша. Феликс сунул хлеб в рот, попытался размягчить его слюной и потом разжевать, но слюны оказалось слишком мало. Много было только слез, они все катились и катились по грязным щекам, крупные, как горошины. Зденек снова отправился к врачу.

— Шими-бачи, нельзя ли что-нибудь сварить для Феликса? Кашу? Достать немножко сахару?

Маленький венгр добродушно сощурился и повел Зденека к своему начальнику.

— Он насчет того человека со сломанной челюстью, — сказал он Оскару. — Вы договоритесь по-чешски.

Оскар впервые видел Зденека. Он посмотрел на него в упор своим обычным хмурым и пристальным взглядом. С людьми, которые у него чего-то просили, он всегда разговаривал строго и даже неприветливо, словно боясь вызвать у человека надежду на большее, чем он, Оскар, в состоянии сделать.

— Ты товарищ Феликса? С ним дело плохо, сам понимаешь. Все вы сильно ослабли, а у него еще это... Пару кусков сахару я, наверное, достану. На обед будет картошка. Разомнешь его порцию, а я постараюсь раздобыть кусок маргарина. Посмотрим, сможет ли он это съесть. Сомневаюсь. Что он делал на свободе? Пианист? Физически он слабоват. Удивляюсь, каких некрепких людей пропустили на этот раз через селекцию в Освенциме... Ну, это хороший признак, видно, у Гитлера дела настолько плохи, что и мы ему годимся. А уж с нашей-то помощью он обязательно выиграет войну, это факт, а?

Глаза Оскара смеялись. Зденек тоже усмехнулся.

— Факт!

* * *

В десять часов утра и в самом деле начали рыть канавы. Абладекоманда, пополненная десятком новичков [66] покрепче, выкатила из ворот тележку и, громко ухая, возила стройматериалы со склада. Для каждой крыши требовалось восемь готовых деталей из досок, планок и толя — размером три метра на два с половиной — и такое же количество дощатых секторов для нар. Кроме того, ставились две большие готовые треугольные стены, передняя и задняя, дверь и окно. Всего, таким образом, барак собирали из двадцати деталей, а на три барака их требовалось шестьдесят. Особенно трудно было возить громадные и нескладные треугольные стены: они никак не помещались на тележке, их приходилось скорее нести, чем везти. Отхожее место собирали из четырнадцати деталей несколько иных размеров. Доставка всех этих материалов на стройплощадку затянулась до полудня. Раньше не удалось начать ни стройку забора, ни вывоз мертвецов, потому что тележка была единственным перевозочным средством в лагере — на ней возили и дрова, и картошку, и трупы.

Маленький коренастый Диего Перейра в синем берете и толстом шерстяном шарфе уже два раза заходил в контору.

— Никс? — махал он руками. — Все еще никс {9}?

— Знаешь ведь, что у нас только одна тележка, — сердито проворчал писарь. У него было работы по горло, а с этим сволочным испанцем, который упрям, как мул, и прикидывается, что не умеет говорить по-немецки, Эрих вообще не любил разговаривать. — Иди, помогай пока абладекоманде. Иди, работай!

Диего вытаращил большие черные глаза и ткнул себя пальцем в грудь.

— Я — тотенкоманда. Я хоронить из всех последних сил. Это моя работа. Писарь, ты умираешь, я тебя закопать, живо, марш. Хочешь? А другая работа — *ausgeschlossen* <Исключено (нем.)>.

Грек, сидевший напротив писаря, рассмеялся, и это еще больше рассердило Эриха.

— Перестань, Фредо, и немедленно гони его отсюда, я его видеть не хочу! — И, язвительно взглянув на Диего сквозь стальные очки, писарь по-мальчишески подразнил его: — Да здравствует Франко! Да здравствует Франко! [67]

Фредо вскочил, едва успев удержать испанца, который устремился вниз по ступенькам, чтобы накинуться на писаря. Тот, зная, как силен Фредо, спокойно сидел на месте.

— Гони его, говорю тебе, гони! — повторил он.

Испанец напирал на Фредо и бурчал ему в ухо:

— Эх, ты, коммунист, а защищаешь нацистскую шлюху!

— Тебя защищаю, осел, — ответил тот и железной рукой оттеснил испанца к двери. — Это же писарь. Проваливай!

Диего вырвался из рук грека и, багровый от гнева, затопал по ступенькам. В дверях он остановился, обернулся и сплюнул.

— Я тебя похоронить, писарь. Факт, на сто процент!

Когда Диего вышел, писарь нервно оттянул воротник своей арестантской куртки,

словно ему было душно.

— Подам на него рапорт, разделаюсь с ним. Сегодня же! А если ты будешь смеяться его дурацкой болтовне...

Грек уселся на свое место, напротив писаря, и пристально посмотрел на него.

— Герр писарь, вспомните, пожалуйста, о лагере нового типа. Диего и его люди — полезные работники. Карцера, порки, виселиц здесь уже не будет. Зачем же подавать на него рапорт?

Писарь замахал на него руками, в которых держал бумаги.

— И ты хорош гусь! Видишь, как я занят, а ты меня раздражаешь и задерживаешь. У меня и без того голова идет кругом.

— Вот потому-то вы нервничаете и поступаете неправильно, — невозмутимо продолжал грек. — Мы все здесь жертвы фашизма, так зачем же нам...

— И я? — хрипло засмеялся писарь и показал на свой зеленый треугольник.

— И вы тоже. Я вас уже достаточно хорошо знаю, вы немец, но не фашист. Мы наверняка доживем до того времени, когда окажется, что лучше быть не фашистом, а жертвой фашизма. Это вы сами уже давно поняли. Зачем же вы наживаете себе врагов среди заключенных? А что касается обилия работы в конторе, то почему бы вам не взять помощника? [68]

Эрих наклонился над бумагами и делал вид, что не слышит.

— У меня нашелся бы для вас подходящий человек, — добавил Фредо и взялся за бумагу и карандаш.

— Хочешь пристроить сюда еще одного грека? — бросил писарь, не отрываясь от работы.

— Ну что вы! Вы же сами сказали, что они безграмотны.

— Это верно, — усмехнулся писарь. — Но изредка бывают и исключения.

Фредо слегка поклонился.

— Спасибо, писарь. Но на этот раз я имел в виду не грека.

— Француза?

— И не француза. Мне понравилось, что вы выдвигаете Оскара. Это правильный ход. Что, если бы усилить позиции лазарета тем, что взять в контору кого-нибудь, кому доверяет Оскар?

Эрих перестал писать.

— Венгра?

— Хотя бы и венгра. Но еще лучше, чтобы это был не старичок. Что вы скажете насчет кого-нибудь из новеньких? В большинстве они чехи и поляки.

— Вздор! Этих мусульман никто не знает. Оскар видел их даже меньше, чем мы. Все они на одно лицо, дохлые, уши торчком. Ты согласен посадить рядом с собой такого заморыша?

— В лагере нового типа все они быстро воспрянут духом и телом, не правда ли, писарь? А заключенный, который попадает в проминенты, поправляется скорей

других, это вы сами знаете. У меня есть кандидатура.

— Ай да грек! — засмеялся писарь. — Я еще не знаю по имени ни одного из этих полутора тысяч, а у него уже есть кандидатура! Знает ли его хоть Оскар?

— Знает, и вы тоже знаете. Оскар — в этом я только что убедился — относится к нему благосклонно. Справлялся я о нем и у других чехов. Все его знают, он кем-то был там у них, в Терезине. Его блоковый сказал, что он умеет петь. Мы сами убедились, что он хорошо говорит по-немецки и по-французски. Ну, вспомните-ка, это тот кинорежиссер.

— Знаю, знаю! — писарь отмахнулся. — Санитар Пеппи приводил его сюда. Нет, эта кандидатура не годится: [69] проминенты ни за что не простят мне, если я возьму в контору только что прибывшего новичка.

Фредо хитро улыбнулся.

— Проминенты вам не страшны. И вообще, разве вы боитесь кого-нибудь? А кинорежиссер — это солидный человек, с кинорежиссерами считаются. Помните, как тогда, ночью, Гастон сразу наострил уши? Если мы дождемся конца, кинорежиссер может оказаться влиятельной фигурой. Иметь его свидетельские показания в свою пользу — это... В общем, я бы на вашем месте, писарь, держал под боком такого человека. Если он поймет ваше стремление к новому духу лагеря...

— Ох и хитер! — смеялся Эрих, покачивая головой. — Ну и ловкач же ты, грек!

6.

Ровно в одиннадцать часов к комендатуре подъехал курьер в длинном сером дождевике, застегнутом донизу, с черной сумочкой на груди и автоматом за плечами. Он поставил мотоцикл и явился к рапортфюреру. Копиц сидел у себя, в жарко натопленной комнате. Он был без френча, из-под воротника и манжет рубашки выглядывала толстая фуфайка. Встав, он хлопнул себя по лбу.

— А я-то совсем забыл о тебе, приятель! Утром у нас тут была такая заваруха... Ты за зубами, да?

Снимая перчатки, курьер кивнул.

— Со вчерашнего дня в вашем лагере больше тысячи человек, так что и мертвых будет больше. Столько золота мы, разумеется, не можем оставлять у вас на целую неделю. Вдруг вы его пропьете?

Рапортфюрер усмехнулся. Выпить — ну что ж, неплохая идея. Надо же как-то вознаградить этого типа за то, что ему придется изрядно подождать. Копиц накинул подтяжки на плечи и подошел к шкафу. Там стояла початая бутылка, которую ему только что принес писарь. Он угостил курьера рюмкой шнапса и вышел в соседнюю темную комнатку, где спал Дейбель после ночного дежурства.

— Руди! — шепнул Копиц, зажег свет и присел на койку.

— Что случилось? — крикнул, откидывая одеяло, всклокоченный, заспанный Дейбель. [70]

— Ш-ш! — Копиц приложил палец ко рту и кивнул на дверь: мол, мы не одни. — Утром ты мне докладывал... — Сонные глаза Дейбеля смыкались, и Копицу пришлось крепко потрясти его. — Не спи, тут важное дело! Утром ты докладывал

мне, что в поезде было шесть мертвых и ты велел закопать их там же, около станции. — Дейбель кивнул.

— Были у них золотые зубы? — прошептал Копиц. — Если нет, то составил ли ты акт? А если да, то вырвал ли ты эти зубы и где они?

Дейбель широко открыл глаза.

— Великий боже, неужто кто-нибудь пронюхал?

Копиц брезгливо отпустил его рукав.

— Кто может пронюхать, осел? Но если ты был таким кретином, что велел зарыть их с зубами, надо срочно что-то придумывать. Вставай!

Дейбель вскочил с койки, завязал штрипки у кальсон и сунул ноги в брюки.

— Приехал курьер из Дахау, — шептал ему Копиц. — Я тоже забыл, что теперь он будет каждый день ездить к нам за зубами. Но это пустяки. В мертвецкой у нас лежат как раз шесть трупов, дантист их осмотрит, курьер подождет. А вот что нам делать с теми шестью зарытыми?

Дейбель застегивался, вид у него был довольно унылый.

— Сразу выкапывать нельзя. Великий боже, что бы придумать... Ага, знаю! — он быстро повернулся к Копицу. — Карльхен пристукнет шесть других, а зубы...

— Осел! — снова выругался Копиц. — Когда ты не проспишься, то ничего не соображаешь. Ведь эти шестеро мертвых не числятся в наших списках, они остались на станции. Их не возместишь, даже если прикончить здесь двадцать человек, понял?

— Постой-ка, — Дейбель почесал в затылке. — Те новые шесть, что в мертвецкой, у тебя ведь еще не объявлены? Вырви у них зубы, скажи, что это от вчерашних, и дело в шляпе.

— А завтра я объявлю сегодняшних, и зубов к ним не будет? Вздор!

— Нет, не вздор, Копиц. Во-первых, не обязательно объявлять все зубы. Не кипятись, дай мне сказать. Во-вторых... во-вторых... в общем, я тебе ручаюсь, что [71] какая-нибудь там золотая коронка у нас найдется. Я знаю человека, у которого есть запасец.

— Фриц?

Дейбель уклонился от прямого ответа.

— Предоставь это мне. Напиши в рапорте, что у трех вчерашних — хватит трех? — были стальные протезы, и я подпишу. А у сегодняшних тоже три...

— Четыре, Руди, а то будет подозрительно!

— Ну, ладно, пиши как хочешь. Я сейчас иду в лагерь, и через пару минут ты получишь семь зубов с двенадцати трупов. Идет?

Дейбель протянул руку. Копиц презрительно сплюнул, но руку пожал.

— Вечно приходится отдуваться за тебя. Это тебе так не пройдет. А с Фрицем я бы на твоём месте не связывался, он тебе на шею сядет.

— Слушаюсь, герр рапортфюрер, — отозвался Дейбель, натянул сапоги и побежал,

застегиваясь на ходу. Теперь он окончательно проснулся.

— И пошли мне сюда писаря! — крикнул ему вслед Копиц.

* * *

Мертвецкая находилась на другом конце апельплаца. Это было строеньице, собранное из таких же деталей, что и отхожее место, но с земляным полом. Поскольку оно предназначалось для мертвых, никто не позаботился плотно пригнать стены, всюду были щели, окно отсутствовало, а несмазанная дверь без задвижки скрипела на ветру.

Зубным врачом лагеря был Имре Рач, рослый венгр, бывший военный дантист и майор. Свой чин он сохранял до недавнего времени: еще год назад Рач служил в венгерских войсках, сражавшихся на стороне Гитлера против Советской Армии. Потом он проштрафился, попал под следствие, открылось какое-то темное пятно в его происхождении, и он покатился кувырком, все ниже и ниже, пока не очутился в концлагере. Но осанку он сохранил офицерскую, арестантское платье носил непринужденно и даже щегольски, казалось, слышно было бряцание сабли в полах его полосатой арестантской одежды, а шапочка на лысой голове Рача сидела лихо, как кепи гонведа. [72]

— Дантист, — сказал Дейбель, когда они быстро шли по безлюдному апельплацу, — ты меня знаешь и знаешь, на что я способен. В мертвецкой лежат шесть мертвых, но мне нужны, понимаешь, необходимы семь разных зубов. Делай как хочешь, распили какой-нибудь протез или, еще лучше, позаимствуй из старых запасов, но через десять минут я должен сдать семь зубов!

— Герр обершарфюрер, наверное, шутит. Откуда у меня запасы? Перед отправкой в Гиглинг нас всех обыскивали, и я ничего не мог пронести. А здесь за то время, пока была строительная команда, умерло всего восемь человек, и, как вы помните, я вместе с вами активировал зубы...

Имре спокойно глядел на эсэсовца, но тот нетерпеливо махнул рукой.

— Врешь, что-нибудь у тебя есть. Ты жид, а у жидов всегда есть золото. Не зли меня и не вынуждай к крайним мерам. В Варшаве мы работали вместе, и все было хорошо, я тебя никогда не обижал, ты же знаешь.

— Пардон, — улыбнулся Имре, — однажды я получил двадцать пять горячих за пособничество герру обершарфюреру Дейбелю в укрытии двух золотых долларов. И трижды вы сами меня...

— А ну тебя! — рассердился Дейбель. — Я тебя просто не понимаю. Ты жив, чего тебе еще? Как-никак ты в концлагере, не чудо ли, что ты вообще не загнулся?

Они дошли до покойницкой, Имре вежливо придержал дверь, Дейбель, насупившись, прошел вперед. На полу в разных позах лежало шесть голых трупов. Только у двоих было на левом бедре чернильным карандашом написано имя — это были те, что умерли сегодня ночью в бараках. Другие четверо умерли на апельплаце, сразу же по приходе, еще не опознанные. Врач посмотрел, нет ли у них на руке освенцимской татуировки, но не нашел.

— Займись зубами, — сказал эсэсовец. — Все остальное не важно. — Он вытащил из-за обшлага листок, послунил карандаш и ученическим почерком переписал себе фамилии умерших: «*Франтисек Бонди, барак 17*» и «*Наум Блатт, барак 23*».

Врач уже наклонился над последним трупом. [73]

— Ну как, Имре?

— Разрешите доложить, что обнаружено только четыре зубных протеза. Из одного, я, очевидно, смогу сделать два. Всего будет пять.

Дейбель стоял над ним.

— Семь, мне нужно семь!

Имре перекладывал из руки в руку старые зубохирургические щипцы.

— Сожалею, герр обершарфюрер, но...

— Семь, слышишь? У этого Франтисека ничего нет?

Врач опустил глаза.

— Да, именно у него ничего нет.

Дейбель взглядом знатока оглядел тело.

— Ему за сорок... Франтисек — это чешское имя, а? Наверняка у него был золотой зуб. Не вынуждай меня...

Имре взглянул ему в глаза.

— Вас не обманешь, герр обершарфюрер. У Франтисека действительно был золотой зуб, пятый верхний. Но он исчез.

— Ага! — Дейбель упер руки в бока. — Это ты постарался! Давай сюда зуб!

— Я впервые вижу этого мертвеца, честное слово.

— Скажи мне еще раз «честное слово» — и я тебя пристрелю. Какая может быть у тебя честь, дерьмо! Где ты спрятал зуб?

— Он, очевидно, был вырван в бараке. Спросите блоксового.

Эсэсовец замахнулся, но опустил руку.

— Ты от меня не уйдешь. Если ты врешь, не выйти тебе живым из мертвецкой. Можешь выбрать себе здесь место среди них, — носком сапога он ткнул в сторону трупов. — Вырви пять зубов, о которых ты сказал, а я пока зайду в барак. Шестой я найду, но седьмого у нас так и нет. Его ты достанешь из старых запасов, слышишь?

Имре поднял взгляд от своих щипцов.

— Герр обершарфюрер, еще два слова. Считаю своим долгом...

— Ну скорее, в чем дело?!

— Кто-то пользовался этими щипцами и слегка погнул их. Видно, не умеет с ними обращаться. Может быть, ими просто вытаскивали гвоздь, а может быть, и...

— Разве ты не держишь щипцы у себя? [74]

— Никак нет. Зубохирургические инструменты и бормашина, как вы изволите знать, хранятся в конторе.

— Неужели кто-то из конторы... Впрочем, почему бы и нет? Фриц и Хорст закапывали той ночью мертвых у станции. А?

В глазах врача мелькнула искорка надежды и страха.

— Не знаю, не могу сказать, — быстро пробормотал он. — Вы сами обо всем догадались, а я, право, не знаю...

— Прекрасно, — усмехнулся Дейбель и пошел к двери. — Приходи с зубами в контору. Я буду там.

В конторе был только Фредо.

— Где Фриц? — еще в дверях спросил Дейбель.

— На стройке, — стоя навытяжку, доложил грек.

Дейбель сбегал по ступенькам, вытащил из-за голенища кусок красного кабеля и швырнул его на стол.

— Немедля приведи сюда блокового из семнадцатого барака, а потом Фрица...
Погоди, покажи-ка мне койку Фрица.

Грек отодвинул занавеску и пропустил эсэсовца в глубину конторы.

— Первая налево.

— Хорош свинюшник! — буркнул Дейбель при виде неприбранных постелей. — Ладно, иди, пошли мне тех двоих, а сам стой у дверей и никого не впускай.

За занавеской было четыре постели, настоящие койки на четырех ножках, хотя и сбитые наскоро из досок. Две стояли у левой стены, две — у правой. У средней стены торчал хромой стул, на который обычно садились пациенты дантиста Имре. Тут же стояла старенькая бормашина с ножным приводом. В окно был виден участок, где строили бараки. С момента прихода Дейбеля в лагерь там шла лихорадочная работа.

Но Дейбелю было, конечно, не до надзора за стройкой. Он поглядел на койку под окном. Это была койка Хорста. Над ней висела фотография немецкого семейства в деревянной рамке, угол которой был украшен ленточкой Железного креста. Хорст получил этот крест в 1939 году в Польше, а потом за разные проступки угодил в лагерь. О награде Железным крестом у него был документ, но носить этот орден здесь, в лагере, [75] Хорст, разумеется, не мог, а против ленточки на рамке лагерное начальство не возражало.

Дейбель подошел к соседней койке, принадлежавшей Фрицу, и сорвал с нее одеяло. Под ним оказалось еще одно и тощий соломенный тюфяк.

Эсэсовец скинул все это на пол. Осталась деревянная койка с поперечными досками. На них ничего не было. Дейбель промял ногами тюфяк, но нигде не ощутил твердого предмета и не услышал подозрительного хруста. «Хитер, сволочь», — произнес он вслух и, услышав шорох в дверях, быстро повернулся и вышел в переднее помещение.

По ступенькам спускался блоковый из семнадцатого барака, француз, по прозвищу Жожо. Он стал навытяжку, отрапортовал свой номер и ждал.

— Сказали тебе, что будет худо? — спросил Дейбель и потянулся за кабелем.

Француз не знал, что ответить.

— Ты вынул все из карманов перед тем, как идти сюда?

Жожо ухмыльнулся.

— Так делает каждый старый хефтлинк.

Дверь снова открылась, вошел Фриц, румяный, как всегда, с черным чубом, свисающим на лоб. Он улыбался и вместо обычного рапорта сказал просто:

— Герр обершарфюрер вызывал меня, я здесь.

Дейбель быстро перевел взгляд на француза.

— Ты мне нужен, Фриц, поди сюда. Этот сукин сын украл сегодня ночью золотой зуб, вырвал у какого-то Франтисека, который умер в его бараке. Мне немедля нужен этот зуб. Жожо, спускай штаны и ложись на стол, Фриц, вот тебе мой кабель, задай ему жару.

Жожо ничего не понимал или делал вид, что не понимает. А Фриц уже был тут как тут. Обрадованный тем, что Фредо явно ошибся, когда предупредил его, что Дейбель за него возьмется, Фриц тотчас же стал к столу. Дело явно касалось не его, неприятность грозила другому. Правда, немного странно, что Дейбель не вызвал для порки кого-нибудь еще, например своего любимчика Карльхена. Но если зовут его, Фрица, что ж, пожалуйста... [76]

Он взял в руки кабель. Не так уж плохо держать в руках эту гибкую стальную плетку, даже, пожалуй, приятно... Осел Фредо, так ошибиться!

— Спускай штаны! — заорал Фриц на француза. — Слыхал, что сказал герр обершарфюрер?

Жожо отступил на шаг. Он был не новичок и понимал, что положение серьезное. Неторопливо расстегивая ремень, он сказал добродушным баском:

— Зачем же сразу порка, герр обершарфюрер? Кто-то меня выдал, и вы все знаете. Зуб я не вырвал, а купил его, *c'est tout* <Вот и все (*франц.*)>. Если желаете, я его сейчас принесу...

Все это говорилось очень медленно, нескладно, с сильным французским акцентом; Жожо был похож на немецкого опереточного комика в роли француза.

Фриц нетерпеливо сгибал и разгибал кабель, то и дело оглядываясь на Дейбеля: не пора ли прервать француза затрещиной. Но эсэсовец движением руки велел ему подождать.

— Кто вырвал зуб?

Жожо смущенно улыбнулся и незаметно убрал руки с еще не расстегнутого пояса.

— Брат этого Франтисека. Его родной брат. Мертвый сам так хотел... конечно, когда был жив... Купи, говорит, на мой зуб себе хлеба. Ну, когда он кончился, брат так и сделал. Это ведь не кража... А я у него купил... — Опять смущенная улыбка и пожатие плеч.

— Где зуб?

— В бараке. Можно мне за ним сходить? — Жожо обрадовался, что ему, быть может, удастся смыться, и уже сделал движение к двери.

— Спускай штаны, — сказал Дейбель. — Сперва получишь свое, потом принесешь зуб. Десять, — приказал он Фрицу. — Да поувесистей!

Жожо понял, что ничего не поделаешь. Он проиграл, но проигрыш не так уж велик.

Десять ударов — это худо, но двадцать пять было бы куда хуже. Жожо стиснул зубы, снял пояс, отодвинул ящик с картотекой, налег на край стола и положил голову на руки.

Желая показать, что он достоин доверия Дейбеля, Фриц усердствовал: он засучил рукава и стегал изо [77] всех сил. Жожо кряхтел, но не кричал. На четвертом ударе у него лопнула кожа, и эсэсовец, как это было ни странно, сказал: «Довольно!». Жожо осторожно выпрямился.

— А ты бы хотел продолжать? — спросил Дейбель Фрица.

— Без всяких! — усмехнулся коротышка..

— А ты бы не смог лупить так крепко? — обратился Дейбель к Жожо, явно потешаясь всем происходящим.

Злоба кипела в душе француза, но он сдерживался.

— Товарища — нет... — ответил он тихо.

— Даже Фрица?

Жожо поднял сухие глаза. В них мелькнуло что-то красное.

— Его — да, — сказал он еще тише. — Он не товарищ.

— Ах ты, французская свинья! — взъярился Фриц.

— Оставь его в покое, — усмехнулся Дейбель, — увидим, не врет ли он. Ну-ка спускай штаны и ложись на стол.

Фриц вытаращил глаза.

— Ты! — эсэсовец похлопал его по плечу. — Разве ты не торгуешь ворованным золотом? Ну-ка, живо, живо! — он перестал смеяться и вырвал из рук Фрица кабель. Теперь они стояли вплотную друг к другу, бледно-голубые глаза эсэсовца впились в карие глаза Фрица, и тот потупился.

— За что же меня бить? — забормотал он. — Что я сделал? — Дейбель продолжал пронзать его взглядом, и Фриц прошептал: — Вы велите французу бить немца?..

— Этим ты меня не проймешь, — сказал эсэсовец. — Ты не немец, ты дерьмо. Сегодня же пойдешь острижешься наголо и перейдешь из конторы в мусульманский барак, так и знай. А сейчас спускай штаны. На, Жожо! — и он подал французу кабель.

Фриц дернул пояс, расстегнул его, но все-таки еще раз строптиво поднял голову и спросил:

— А за что наказание, вы мне так и не скажете?

— Скажу. Где зубы с тех шести трупов, что ты закопал ночью? [78]

— Убью Хорста! — прошипел Фриц.

Дейбель потешался.

— Ты думаешь, Хорст тебя выдал? А разве я сам не мог догадаться?

— Зубы я продал кельнеру на вокзале... И для вас купил сигарет... — выложил Фриц свой последний козырь. Он знал, что это ему не поможет, что тем самым он только сует голову глубже в петлю, но был недостаточно умен, чтобы заставить

себя замолчать.

— Да ты дерьмо, да еще опасное. Копиц был прав. С тобой я больше не связываюсь. Где зубы?

— Я выменял их на сигареты.

— На сигареты я тебе дал кое-что другое. О зубах я не знал, и ты хотел украсть их у германской империи. Где зубы?

Фриц наклонил голову.

— Всего было пять коронок, из них золотых только три. Стальные я выкинул, одну золотую продал, две у меня есть.

— В лагере? — быстро спросил Дейбель, и сердце у него подпрыгнуло от радости: стало быть, он все-таки наберет семь зубов, да еще один останется, чтобы подмазать Копица! Дейбель потер руки и благосклонно обратился к французу:

— Жожо! Сорви злость, отквитайся. Хочешь вклеить ему двадцать пять?

Жожо взглянул на Фрица, потом на красный кабель в своей руке.

— Уже не хочется, — сказал он.

— Можешь не бояться, он тебе не отомстит. Он конченный человек. Бей!

Жожо смущенно усмехнулся.

— Не то чтобы я боялся... Но у меня... у меня болит спина. Может быть, Карльхен сделает это лучше?

Дейбель разочарованно покачал головой.

— Вижу, что ты выкручиваешься. А без злобы это было бы уже не то. Почему только вы, французы, такие выродки?.. Ну, сходи-ка за зубом. А Фрица отделает кто-нибудь другой, — добавил он со вздохом.

У конторы уже стояла целая очередь: встрепанный Эрих прибежал из комендатуры, ему нужно было навести какую-то справку в бумагах; Хорст передал надзор за стройкой Дереку и пришел узнать, что случилось [79] с Фрицем; доктор Имре, выполнив распоряжение Дейбеля, принес ему пять обещанных зубов. Но Фредо не впускал никого. Опершись плечом о притолоку, так что ему было слышно почти каждое слово, он преграждал вход в контору. «Герр обершарфюрер велел не мешать ему».

Потом вышел Жожо — с самым бравым видом, широко улыбаясь. На все вопросы он только пожимал плечами и поспешил к своему бараку так быстро, как только мог. Вскоре послышался голос Дейбеля: «Фредо!»

Грек вбежал в контору, вслед за ним осторожно вошли остальные. Эсэсовец стоял у стола и потряхивал на ладони две золотые коронки.

— Хорошо, что вы пришли. Имре, принес?

Долговязый венгр кивнул.

— Я их уже продезинфицировал. — И он высыпал из старой жестяной коробочки пять коронок на ладонь Дейбеля.

Эсэсовец стоял, покачиваясь с пятки на носок.

— Слушайте меня хорошенько. Я установил, что сегодня ночью Фриц совершил тяжелый проступок против Германии. Знал об этом староста лагеря?

Хорст был бледен как мел. Он покачал головой.

— Я? Что вы!

— Знал! — раздался из-за занавески глухой голос Фрица.

— Опасный человек, — сказал Дейбель, показав глазами на занавеску. — Что ты знал, Хорст?

— Я был с ним на вокзале... знал, что он продает... это самое... Но он сказал, что... ему так приказано...

— Ты так сказал? — повысил голос Дейбель, обращаясь к Фрицу.

Фриц не ответил. Зато на другом конце барака открылась дверь, вошел Жожо и положил на ладонь эсэсовца еще одну, особо крупную золотую коронку.

— Вопрос ясен, — заключил Дейбель, засовывая всю добычу в карман. — Мне надо идти. Днем Карльхен всыплет Фрицу двадцать пять горячих. Потом обрейте его наголо и переведите в мусульманский барак.

Он взял свой красный кабель, лежавший возле картотеки, и взбежал по ступенькам.
[80]

7.

В полдень началась раздача еды. Первыми выстроили тех, кто не работал. Длинная очередь растянулась по Лагерштрассе до самой конторы. Помощники Мотики вытащили из кухни два громадных котла, наполненных вареной картошкой в мундире. От картошки поднимался пар, у нее был запах, от которого кружилась голова. Продрогшие «мусульмане» благоговейно закрывали глаза, некоторым казалось, что у них выворачивается желудок.

Кругом стояли капо с дубинками, фамильярно переговаривались с людьми из кухни и строго следили за очередью.

От котлов с картошкой вдоль очереди побежали двое парней со стопками эмалированных мисок в руках. Раздавая на бегу миски, они кричали: «Бери, бери!» — и торопились так, словно бежали на пожар. Испуганные «мусульмане» дрожащими руками хватали миски. Потом опять началось ожидание.

Минут через пять раздатчики посуды появились снова, на этот раз с ложками. «Бери, бери, бери!» — кричали они и совали ложки, не глядя даже, успевают ли их брать. Ложки падали на землю, люди поспешно нагибались за ними, в очереди возник беспорядок и толкотня, капо опять заработали дубинками, послышались вопли и стоны, и снова долгое ожидание.

Наконец из кухни вышел слоноподобный Мотика в переднике из мешковины и бумажном колпаке. Расставив ноги, он стал у левого котла и взял в руку черпак, сделанный из старой консервной банки. То же самое сделал глухонемой Фердл, занявший место у другого котла.

Перед Зденеком было не меньше сотни человек, но он впился глазами в потные лица обоих поваров и видел только их, словно стоял с ними лицом к лицу. Ему даже не пришлось подниматься на цыпочки — перед ним стоял «мусульманин» на

голову ниже его ростом; собственно, это был даже не мужчина, а какой-то юнец. Другие заключенные тоже хотели видеть поваров и высунулись из очереди, вызвав поток брани и ударов со стороны капо. [81]

Зденек стоял прямо, смотрел вперед, сердце у него взволнованно билось. Ему показалось, что у гиганта Мотики грубое, злое лицо. Тем лучше, что он, Зденек, стоит в правом ряду. Маленький, насмешливо улыбавшийся Фердл производил лучшее впечатление. «Бедняга Феликс, — без особого огорчения подумал Зденек, — стал рядом со мной, и опять ему не везет: непохоже, чтобы этот детина вздумал выдавать щедрые порции».

Вдоль очереди прошел капо Карльхен. Около юнца, стоявшего перед Зденеком, он на мгновение задержался и сказал нежно:

— Servus, klaner Bär! <Привет, медвежонок! (нем.)> — юнец закивал, а большой черномазый узник, за которым стоял Феликс, угодливо поздоровался с капо.

Карльхен подошел к котлам с картошкой, мигнул Мотике, тот подмигнул ему. Люди с мисками в руках решили, что это сигнал к раздаче, и хотели было двинуться вперед, но Карльхен заорал:

— Achtung! Шапки долой!

Узники стали перекладывать миску и ложку в одну руку, чтобы другой снять шапку. Кое у кого посуда опять выпала из дрожащих рук. Люди нагибались, толкались, снова получали удары... В этот момент раздалось резкое «Начинай!» Краем жестяных банок повара зачерпнули картошку и то, что набрали, вывалили в подставленные миски. «Бери, бери!» -приговаривал Мотика, а глухонемой что-то мычал. Очередь двигалась, раздача шла очень быстро, головокружительный запах картошки усиливался, сердце Зденека билось все сильнее. Он уже забыл о Феликсе, он видел только юнца перед собой и, как замороженный, шел за ним, не сводя глаз с его миски. Вот она поднимается к котлу... Тут капо Карльхен засмеялся, подтолкнул маленького повара и кивнул на миску юноши. Повар сделал еще более приветливое лицо, погрузил черпак глубоко в котел, набрал много картошки и вывалил в миску, наполнив ее с верхом так, что картошка даже посыпалась через край.

— Спасибо, — сказал обрадованный юнец и отошел в сторону. [82]

Наступила очередь Зденека.

Банка неглубоко погрузилась в котел и захватила лишь несколько картошин.

— Прибавьте, — попросил Зденек, не знавший, что Фердл — глухонемой. — Пожалуйста, прибавьте, ведь этот парень получил больше. — И он держал миску так, что повар не мог вывалить туда порцию. Фердл удивленно поднял глаза, взглянул в умоляющее лицо Зденека и прогнусавил что-то похожее на согласие. Потом он опустил черпак еще раз в котел и действительно набрал много картошки, приветливо кивнул Зденеку — мол, подставляй миску — и, когда тот, замороженный видом еды, так и сделал, стремительным броском швырнул ему всю порцию прямо в лицо.

— Следующий, пожалуйста бриться! — воскликнул Карльхен, ухватил ослепленного Зденека за рукав и оттолкнул в сторону.

Все лицо Зденека было облеплено теплой картошкой. Он уронил миску и ложку и

обеими руками вытирал лицо, стряхивая куски картошки, стараясь не размазать их.

— Счастье твое, что Мотика — недотепа и всегда раздаст остывшую еду, — хохотал капо. — Будь картошка горяча, хорош был бы у тебя видик!

Зденек нагнулся и поднял свою миску. Карльхен был прав. Лицо у него горело, хотя и не было обожжено. Особенно болели веки, но глаза открывались без труда и видели хорошо.

— Ты куда? — спросил Карльхен, поднимая палку. — Уж не собираешься ли опять стать в очередь? Мало тебе этой порции?

И Зденек с пустой миской в руках поплелся на другую сторону, где более счастливые глотали свою картошку. Одни ели стоя, другие — сидя на корточках у кухонной стены. Большинство даже не очищало картошку от шелухи, а те немногие, кто делал это, тщательно снимали с кожуры каждую крошку.

— Зденек! — услышал вдруг он тихий голос Феликса; говорить громко ему не позволяла сломанная челюсть. В миске у Феликса была вполне приличная порция картошки, его глаза улыбались и вместе с тем были полны слез. — Ты почему не ешь? [83]

Зденек заставил себя улыбнуться и перевернул свою миску вверх дном.

— Мне ничего не дали, да меня же еще и ошпарили, так что мы с тобой в одинаковом положении, — его голос дрогнул от горечи и жалости к самому себе, и Зденек впервые почувствовал искреннюю симпатию к еще более несчастному Феликсу.

Они хотели вместе отойти к баракам, но какой-то капо с палкой в руке остановил их.

— А миска? Другим жрать из ладошек, что ли?

Зденек отдал свою миску и ложку и тщетно старался втолковать капо, что Феликс не может жевать и они вместе идут сейчас в лазарет, чтобы уладить дело с питанием пострадавшего.

— Подставь шапку, — приказал капо и без долгих разговоров высыпал туда картошку. — А теперь катись!

Пустые, чисто вылизанные миски — некоторые с приставшей к ним картофельной шелухой — опять были сложены в стопки, и раздатчики снова устремились вдоль двигавшейся очереди, подавая посуду тем, кто еще не ел.

Зденек и Феликс направились к верхнему ряду бараков.

* * *

Персонал лазарета обедал. Санитар Пеппи притащил ведро картошки, которую вне очереди получил для врачей. Все медики сидели за столиком у окна, в глубине барака, чистили картофелины, макали их в соль и молча жевали. Оскар глядел в окно на ограду и темнеющий за нею лес. В руке у него была картофелина и нож, но он словно забыл о них. Рядом с ним сидел маленький венгр, доктор Рач, случайный однофамилец большого Имре. Он был полным контрастом рослому дантисту — тихая речь, совсем не военная внешность, мягкий характер. Они не имели ничего общего, только здоровались и иногда, казалось, даже стеснялись друг друга.

Маленький Рач был психиатром. Уже это само по себе раздражало военного дантиста: психиатрию он считал таким же смешным и ненужным занятием, как, например, египтологию. Но что особенно выводило из себя большого Рача — это любовь его однофамильца к мужчине. Когда некоторые капо «занимались с мальчиками», [84] Имре только пожимал плечами: мол, что поделаешь, такова лагерная действительность. Но тот факт, что его однофамилец-врач, интеллигент, вы только подумайте! — связан с другим врачом узами преданности, дружбы, — это Имре считал явным преступлением, достойным кары. Ему было безразлично, что в отношениях этих двух врачей нет ничего скрытого, что они, эти отношения, вполне невинны и не переходят границ обычной студенческой дружбы. Когда речь заходила о маленьком Раче, Имре честил его грубейшими словечками, которыми в лагере называли извращенных людей.

Неразлучным другом маленького Рача был румын Константин Антонеску, атлет со светлыми, коротко стриженными кудрями, обрамлявшими классический лоб. Маленький венгр был старше и, очевидно, умнее, но рядом с рослым другом он выглядел мальчиком. Однако Рач заботился об Антонеску, как мать о ребенке. Румын тихо улыбался и мирился с этим, поглядывая на немного нервного Рача, как сенбернар на своего дружка — фокстерьера.

На другой стороне стола сидел Шими-бачи, самый пожилой и самый почтенный врач лазарета. Все любили этого старомодного деревенского доктора, никто на него никогда не сердился, но относились к нему как-то не совсем всерьез.

Между ним и всегда немного барственно-холодным и натянутым большим Рачем сидел санитар, прозванный дурачком Пеппи, медик-недоучка, судетский немец, попавший в концлагерь за какие-то фантастические растраты. Пеппи был непоседливый пройдоха, вечно искавший случая спекулировать, выгодно обменять или перепродать что-нибудь. Он ужасно скучал, когда обед, как сегодня, проходил в общем молчании.

Войдя в лазарет и увидев людей за столом, в глубине барака, Феликс и Зденек робко уселись у дверей, в части барака, отведенной для пациентов. Но большой Рач заметил их.

— В чем дело? И сюда к нам лезут!

Оба «мусульманина» оробели и хотели было выйти, но Шими-бачи встал из-за стола и остановил их. С неизменной улыбкой на розовых щеках он укоризненным тоном сказал что-то по-венгерски своему соотечественнику. Тот сердито огрызнулся и продолжал есть картошку. [85]

— В чем там дело, Имре? — спросил старший врач Оскар, который все еще смотрел в окно, не обращая внимания на то, что происходит за его спиной.

— Это тот больной со сломанной челюстью, — ответил Шими-бачи.

Имре слегка приподнял свою миску и с выразительным стуком поставил ее на стол.

— Врачи обедают, — сказал он.

— Тебе мешает, что вошли больные? — удивился Оскар. — Разве ты дома терял аппетит из-за того, что в приемной сидели пациенты?

— Попробуй пошли мусульманина в контору, когда там обедают, — рассердился Имре. — Попробуй!

— Слушай-ка, — сказал Оскар, и в его грустных глазах мелькнула улыбка. — Если тебе так нравится в конторе, переселился бы ты туда совсем. Инструмент твой все равно хранится там, да и к воротам оттуда ближе... Ты сам недавно упомянул, что там освободилась койка Фрица.

— Что это значит? — Имре выпрямился и отодвинул миску. — Ты хочешь выжить меня отсюда? И как надо понимать твой намек о воротах?

Шими-бачи опять сказал что-то по-венгерски, а Оскар поднял руку и усмехнулся.

— Я принципиально против дуэлей, герр майор. Говоря «ближе к воротам», я имел в виду лишь тот факт, что в случае счастливого конца ты раньше многих других выйдешь из лагеря и скорее попадешь домой. Сигарету? — он вытащил пачку — и дантист не устоял.

— Благодарю, — сказал он по-венгерски и поклонился, коснувшись двумя пальцами виска.

— Ну, а как же с пациентами? — спросил Оскар по-чешски веселым тоном, потому что сигареты снова напомнили ему о падении ненавистного Фрица. За спинами Рача и Антонеску он перебрался через постель, на которой они сидели, соскочил в проход и пошел к двери.

Зденек и Феликс стояли с шапками в руках.

— Ну, как дела, пражане?

Оба чеха, тощие, остриженные наголо и грязные, улыбались из последних сил, но глаза у них слезились от боли, и Оскар сразу заметил это.

— У пианиста сломана челюсть, — сказал он. — Но ты-то почему скалишься, как голова на колу? [86]

Зденек рассказал об инциденте при раздаче еды.

— Ты голоден? — небрежно спросил врач и быстро ощупал лицо Зденека. — Серьезных ожогов у тебя нет.

— Нет, не голоден, — соврал Зденек и сразу пожалел об этом, почуввав доносившийся из глубины барака аппетитный запах вареной картошки. — Феликс утром почти не мог есть хлеб и отдал его мне.

— Немного картошки у нас тут останется, а лицо мы тебе смажем вазелином, — заметил Оскар словно бы про себя. — А теперь займемся другим пациентом. Для тебя нужны сахар и маргарин, верно? — обратился он к Феликсу.

Сидевший за столом Имре уловил в разговоре чехов только слова «вазелин», «сахар» и «маргарин». «Ну конечно, — проворчал он по-венгерские — для чехов у него все найдется!..»

Оскар заметил, что Шими-бачи снова успокаивает дантиста.

— Видите, ребята, — понизив голос, сказал он по-чешски. — Вот так мы тут все время ссоримся, вечно ссоримся, все до единого.

— Вы этому удивляетесь? — спросил Зденек. Он не мог молчать, невысказанные горькие слова прямо-таки душили его. — Человек человеку волк. Феликс все твердит: «За что меня искалечили?» А меня вот ошпарил этот хам в кухне... Ну, скажите сами, разве люди не волки?

Оскар грустно улыбнулся.

— А ну тебя! Может быть, тебе и душу ошпарили этой порцией картошки? Люди всегда остаются людьми, но, когда на них так давят, они подчас очень странно гибнут, тут уж ничего не поделаешь. Я вот тоже иногда злюсь на людей, да еще как, но мне достаточно изругать кого-нибудь. А другой не может обойтись без палки.

— Феликс не понимает, за что ему сломали челюсть, я хочу знать, почему у меня отняли эту жалкую порцию жратвы. Эсэсовца рядом не было, никто этим сволочам не приказывал так поступать. Почему же они так обошлись со мной?

Сигарета за столом прошла по кругу: Шими-бачи, Пеппи, маленький Рач и Антонеску — все затянулись по разу. Имре подошел к Оскару и отдал ему окурочек. [87] «Спасибо», — сказал тот и похлопал дантиста по плечу. Имре кивнул и вышел из барака. Оскар снова повернулся к Зденеку.

— Вот видишь, и он не так плох, как кажется. Сколько ты лет в лагере? Два? В Освенциме побывал? Так чего ж ты хочешь, скажи, пожалуйста?

— Зденек тоже не всегда был такой, — невнятно прошептал Феликс. — В Терезине он был бодрый, веселый. Вот только здесь... уж не знаю, почему...

— Мне уже ничего не хочется, — сказал Зденек и поглядел в глаза Оскару, словно желая сказать: «Так мне и надо за постыдную слабость, насмехайся надо мной». — У меня уже нет сил драться...

— Сколько тебе лет?

— Тридцать два.

— Мне сорок два. Феликс, тебе хочется жить?

Пианист ничего не ответил, только на глазах его появились слезы.

— Здоровый человек не должен так говорить, — сказал Оскар Зденеку. — Чем ты занимался до войны?

— Работал на киностудии.

Судетец Пеппи, который когда-то проходил военную подготовку в чехословацкой армии и хорошо понимал по-чешски, закричал:

— Das ist doch der alte Kinofritze! <Он старый киношник! (нем.)> Разве ты не помнишь, Оскар, я еще ночью говорил тебе о киношнике, который знал моего отца. Знаменитый режиссер, я видел его фильмы.

Сидевшие за столом с интересом подняли головы.

— Я мало ходил в кино, — улыбнулся Зденеку Оскар. — Не обижайся, что мне неизвестна твоя фамилия.

Зденек смутился.

— Герр Пеппи преувеличил... Я сделал всего лишь несколько короткометражек...

— Можешь не объяснять. Я хорошо знаю Пеппи, и его слова никогда не принимаю вполне всерьез. Ну, иди сюда, я познакомлю тебя с другими врачами. Когда среди нас нет Имре, мы все — дружная компания и совсем не волки.

Статный Антонеску молча посмотрел на Зденека и приветливо кивнул. Маленький

Рач уставился на него [88] умными серовато-голубыми глазами, окруженными множеством морщинок.

— Вы сейчас говорили очень горьким тоном. Что с вами?

За Зденека отозвался Оскар:

— Возьмись за него, возьмись! У него самый опасный в лагере недуг: пропала охота бороться.

* * * Контора тоже получила из кухни обычное ведро картошки, которая даже была очищена и нарезана ломтиками. Фредо затопил печурку, снял с нее две железные конфорки и поставил на их место большую сковородку. На сковородку он бросил несколько порций маргарина, а на шипящий маргарин вывалил половину принесенной картошки, не забыв посолить ее и приправить тмином. Вскоре по конторе разнесся приятный запах жареного картофеля.

За занавеской на зубоврачебном стуле сидел Фриц. Около него вертелся парикмахер, Янкель Цирульник, маленький, головастый польский еврей с большим, вечно простуженным носом. На плечи Фрица была наброшена старая куртка, сейчас засыпанная его темными волосами, на полу тоже валялось несколько черных завитков. Тот, чью голову они только что украшали, кусал себе губы и обдумывал самые невероятные планы мести. Итак, ему, Фрицу, теперь придется ходить остриженным наголо, а эта шкура Хорст будет по-прежнему щеголять усиками! Как же быть с уходом за дебелией фрау Вирт, которое до сих пор шло так успешно? Ее не очень-то покоришь без шевелюры. А что, если угроза Дейбеля серьезна и Фрица действительно отлупят и отправят в мусульманский барак, а за хлебом станет ездить кто-то другой?

Янкель закончил стрижку и с удовольствием посмотрел на полосы, которые тупая машинка оставила на голове Фрица. «Не беспокоило, герр Фриц?»

Коротышке немцу не хотелось вставать со стула, не хотелось прерывать свои размышления о мести и уходить из конторы.

— Побрей-ка, пожалуй, меня, раз уж такое дело, — решил он.

— Извольте, герр Фриц, — поклонился Янкель и извлек из своего ящичка кисточку и бритву, единственную во всем лагере. [89]

В передней части барака сидели за столом Хорст и Эрих. Фредо перемешивал ложкой картошку на сковородке, скоблил дно, чтобы она не пригорела, и всячески дразнил аппетит проминентов. Но головы обоих были полны забот, а кроме того, Хорста и Эриха стесняло присутствие Фрица. Писарь удрученно почмокивал языком, думая о том, что сейчас не худо было бы пропустить по рюмочке шнапса. Но, увы, бутылка, преподнесенная Мотикой, как говорится, уже кланялась. Картотека, на которую Эрих еще сегодня ночью возлагал такие надежды, как на провозвестницу райской жизни, была небрежно сдвинута к самому краю стола, видимо, еще с тех пор, когда наказывали Жожо. Писарь лениво взглянул на нее и даже не встал, чтобы передвинуть ящик на место. «Нет, — думал он, — все идет как-то не так! Чертов рапортфюрер все испортил с самого утра, смешал все карты. Видно, Фредо прав; почему бы в самом деле не взять в контору помощника, который займется картотекой? К чему самому вечно возиться с ней и нервничать из-за дел, которые все равно идут вкривь и вкось?»

— Ты сказал что-то? — проронил Хорст, все еще встревоженный историей с Фрицем.

— Нет, — хмуро проворчал Эрих.

— Чего же ты почмокиваешь?

— Хлопот куча! — сказал писарь. — Людей все прибывает, работы в конторе тоже, придется мне взять помощника...

— Правильно, писарь! — подтвердил Фредо, словно и не помня, что это его собственное предложение. — Я давно хотел тебе это посоветовать.

— А ну тебя с твоими советами! — усмехнулся Эрих. — Грека я сюда не возьму, так и знай. Я уже выбрал себе человека.

— В самом деле? — Фредо изобразил любопытство.

Хорст осведомился, кто же это такой. Писарь не знал, сказать или не сказать. Обстановка казалась ему благоприятной: главный противник, Фриц, разбит наголову, сидит рядом опозоренный и через несколько минут навсегда покинет контору.

— Младший писарь сгодится нам и для других услуг, — сказал Эрих. — Ведь это, собственно говоря, срам, что главный арбейтдинст Фредо у нас тут за кухарку. [90]

— Я против этого не возражаю, — отозвался Фредо, перемешивая картошку. — Но разрешите мне дать еще один совет. В конторе нужен не только младший писарь. Нужен еще и штубовой. Помните, как Дейбель ругался, что у нас тут свиношник. Писарь пусть пишет, а штубовой будет стряпать, убирать и все прочее. Он тоже мог бы жить здесь, раз уж освобождается четвертая постель...

К столу подскочил Фриц. На физиономии у него еще были остатки мыла, в левом углу рта кровоточил порез от бритвы.

— Кто тут решает вопрос о свободной постели? — закричал он. — Какой-то сволочной грек?

Фредо отвернулся от него, Хорст наклонил голову. Только писарь остался спокойно сидеть и из-под стальных очков невозмутимо глядел на оцарапанную физиономию Фрица.

— Ты все орешь? Никак не можешь понять, что твоя песенка спета? Не можешь понять того, что тебе еще придется просить и просить, чтобы староста лагеря или даже простой писарь помогли тебе выпутаться? В своем ты уме, а?

Хладнокровный тон писаря подействовал на Фрица сильнее, чем если бы тот прикрикнул на него. Он поднял руку.

— Моя песенка спета? Уж не думаете ли вы, что я н в самом деле выеду из конторы? — Но тон у него был довольно жалобный.

Писарь хохотнул.

— Хорст, дай-ка сюда твое зеркальце, — сказал он. — Пусть Фриц поглядит на свою голую башку. Нужно его охладить.

Фрицу хотелось вцепиться в горло писаря, но он не посмел.

— Я отсюда и шагу не сделаю. Дейбель не это имел в виду. Вы не сделаете из меня

мусульманина!

— Что имел в виду Дейбель, я не знаю, но что он сказал, это я могу тебе дословно повторить: остричь, переселить, вклеить двадцать пять горячих.

— Послушай, писарь, — вмешался Хорст, — может быть, можно что-нибудь для него сделать... Давай поговорим...

Фриц продолжал ершиться. [91]

— Сдается мне, что именно ты уже говорил обо мне слишком много. Ты еще пожалеешь об этом.

Хорст встал и обошел стол.

— Клянусь моей воинской честью, камарад, что я не выдавал тебя. Вот тебе моя рука!

Его уступчивость придала духу Фрицу.

— Значит, ты сказал кому-то еще, а тот разболтал в комендатуре.

И он нагло взглянул на писаря.

— Дерьмо, и к тому же опасное, — презрительно повторил Эрих слова Дейбеля. — Тебя и выдавать не нужно, ты такой тщеславный дурак, что сам лезешь на свет со всеми своими гешефтами. Никто из нас на тебя не доносил, ты сам себе злейший враг и доносчик. Катись!

Фриц опять снизил тон.

— Я не говорю, что ты меня выдал, писарь, но кто-то сделал это. И если я его поймаю...

— Я здесь ни при чем, я ничего не говорил ни Дейбелю, никому другому, верь мне, камарад... — рука Хорста все еще висела в воздухе.

— Дай мне пообедать, Фредо, — сказал писарь. — Я хочу спокойно поесть. Фриц сейчас сложит свои вещи и уберется отсюда. Потом он явится к писарю, как полагается, и получит направление в новый барак.

— Эрих! — разъяренный коротышка сжал кулаки, но снова разжал их. — Нельзя же помещать меня к мусульманам! Как немец, я требую, чтобы ты направил меня в абладекоманду, в немецкий барак.

— Требуешь? — Эрих усмехнулся. — Вот это здорово, что ты требуешь! Но, если бы даже ты меня просил, я могу послать тебя только туда, куда велел Дейбель. Пойдешь в двадцать второй барак, к мусульманам.

— Эрих! — Фриц понизил голос. — Не будь тут этого сволочного грека, я бы, пожалуй, и попросил. Как немец немца. Но при нем просить не стану.

Эрих улыбнулся еще шире.

— Мне твои просьбы не нужны. Глядеть противно, как ты тут раскисаешь. Так вот, знай, каков я: Дейбель велел перевести тебя в мусульманский барак, но не сказал, в качестве кого. Вот я и пошлю тебя туда блоковым. Что скажешь?

— Ай да Эрих! — просиял Фриц. — Отличная мысль. Спасибо, камарад! [92]

— А насчет двадцати пяти горячих, — продолжал писарь, — я поговорю с

рапортфюрером Копицем. Не ради твоих прекрасных глаз, не воображай, Фриц. Мне все равно, пусть с тебя хоть шкуру сдерут на абажуры. Я против этой порки по другим соображениям: ведь мы вводим в лагере новый дух, и порка тут будет очень некстати. Я сделаю, что могу, даже если обозлю Дейбеля невыполнением его приказа.

— Эрих! — Фриц схватил писаря за руку. — Этого я тебе никогда не забуду!.. По этому поводу надо выпить.

Он побежал за занавеску, вытащил из своего узелка бутылку и хотел вернуться к столу.

— Господин Фриц, — спросил парикмахер Янкель, который, аккуратно собрав в совок остриженные волосы, все еще стоял около стула, — а за работу вы мне ничего не дадите?

— По шее тебе дать, что ли? Слышал ведь, что я буду блоковым в двадцать втором бараке? Зайди туда как-нибудь, получишь хлеба, у меня его будет вдоволь. — Фриц поспешил к столу и поставил на него бутылку.

— Выпей, Эрих. На здоровье!.. Я могу идти прямо в свой барак?

— Можешь. В должность блокового ты вступишь с завтрашнего дня, а сегодня надо еще сделать электропроводку в новых бараках. Пошли ко мне Вольфи из двадцать первого, он временно ведает и двадцать вторым бараком, я с ним обо всем договорюсь. А ты веди себя прилично.

— Zu Befehl! <Слушаюсь (нем.)> — бритоголовый Фриц вытянулся в струнку. Лицо его уже было почти такое же нахальное, как всегда.

* * *

— Не понимаю я вас, писарь, — сказал Фредо, когда коротышка Фриц с шумом выбежал из конторы. — Вольфи — отличный блоковый, его можно было оставить и на двадцать втором бараке. А Фриц будет мучить людей. Новый дух лагеря...

Эрих, запрокинув голову, пил прямо из бутылки. В горле у него страшно жгло и першило, но в желудке сразу как-то потеплело и стало уютно, как в комнатке. [93] Глаза писаря умиленно моргали под стальными очками. Он подал бутылку Фредо.

— На, выпей. Хитер ты, грек, но только до меня, Эриха Фроша, тебе далеко. Дейбель сегодня разделался с Фрицем, это верно. Но кто тебе поручится, что завтра он не вытащит его из грязи собственными руками? Лейбелю всегда нужен «организатор», который устраивает для него всякие гешефты. Может быть, тебе хочется делать их? Не хочется. Во-первых, у тебя нет той смелости, которая, скажем откровенно, есть у Фрица, во-вторых, ты не захочешь работать на эсэсовца. Дейбель сейчас еще не понимает этого, но, вот увидишь, в один прекрасный день он снова сделает Фрица своим доверенным. Так что же — вытаскивать его опять из грязи? Не лучше ли придержать Фрица в теплом и доходном — но не слишком доходном! — местечке? Не лучше ли, чтобы я мог потом сказать: вспомни-ка, Фриц, кто выручил тебя в трудную минуту. Фредо не терпелось поместить кого-то на твою койку, Хорст для тебя пальцем не шевельнул, а может быть, и выдал тебя... — Видя, как вскочил возмущенный Хорст, Эрих хихикнул и закашлялся, но не прервал своей хвастливой тирады. — Только я, так я ему скажу, только я, Эрих Фрош, всегда к тебе хорошо относился и заслуживаю того, чтобы ты мне и в

будущем приносил шнапс. Прозит, ребята, на здоровье!

8.

Стройка барачков была небольшой и нетрудной. Днем работа шла полным ходом. Весь материал был разложен по местам, над первым барачком уже высилась крыша, в отхожем месте работали бетонщики, и в три часа тотенкоманда уже смогла вывезти на тележке шесть трупов. Работа шла в общем спокойно, без лихорадки, эсэсовцы не появлялись в лагере, только у пулеметов на сторожевых вышках торчали часовые. Работами на стройке руководили специалисты из заключенных: поляк Казимир был превосходным каменщиком, немец Карльхен, сменивший дубинку капо на плотничий рубанок, стал держаться на удивление тихо и поражал всех сноровкой в работе. Гастон ходил по стройке, заложив руки в карманы брюк и насвистывая парижскую песенку «Валентина, Валентина», но работа нигде не останавливалась [94] из-за нехватки материала; француз всегда успевал вовремя кивнуть одному из подсобников — мол, пойдём со мной — и иной раз даже без слов объяснить, что и куда нужно отнести, так что, когда плотник, бетонщик или другой мастер обращался за чем-нибудь к подсобнику, все нужное оказывалось уже под рукой и ждать не приходилось.

Фредо появлялся на стройке реже других, и тем не менее благодаря ему работа шла бесперебойно и никого не били. С бумагой и карандашом в руке Фредо ходил по барачкам, собирал людей на новые смены, не трогая ни больных, ни лодырей, и посылал на стройку минимальное количество добровольцев.

Придя в четырнадцатый барачок, он остановился около нар, где рядом лежали Феликс и Зденек.

— *Са ва?* <Идет на лад? (*франц.*)> — спросил он Феликса. Тот уныло покачал головой, ему не хотелось разговаривать. Зденек ответил за него:

— Он все еще не ел. Не может глотать ни хлеба, ни картошки. Держится на паре кусочков сахара, которые ему дал старший врач.

— Тебя зовут Зденек, а? Обуйся и приходи ко мне в лазарет, — сказал Фредо и вышел из барачка.

Старший врач Оскар все еще сидел за столом и смотрел в окно.

— *Salud* <Привет (*исп.*)>, Фредо! — приветствовал он грека, который подсел к нему. — Сигарету? А впрочем, ты не куришь.

Фредо улыбнулся, Оскар разглядывал его грустными глазами.

— Не куришь, не пьешь, репутация у тебя безупречная. Рядом с тобой каждый должен чувствовать угрызения совести.

— А разве ты чувствуешь? — удивился грек.

— Постоянно, — вздохнул Оскар. — Я со своей совестью на ножах: уверяю людей, что у нас человек человеку не волк, а сам не верю в это. Ты коммунист, у тебя — ты не обижайся — узкая вера, ты идешь своим путем, не глядишь ни налево, ни направо, готов услужить даже Эриху, который, по-моему, не лягушка, а скорее мерзкая жаба. Но тебе это все равно, если ты можешь вести свою [95] политику. Иной раз я тебе завидую: тебе легко живется.

Фредо показал в улыбке крупные белые зубы.

— Да, мне очень легко, — согласился он. — Но не потому, что я веду *свою* политику. В этом лагере я провожу политику греков, которые выбрали меня в руководство. И, извини меня, я провожу также и политику чехов, в том числе твою политику, Оскар, вообще политику врагов Гитлера. Жаль, что твоя вера так широка и не влезает в мою узкую веру.

— Вера настоящего врача не терпит партийных шор. Я работаю здесь для всех, а не только для коммунистов. Когда болел Эрих, я делал все возможное, чтобы спасти его, но делал это против своей совести. Ты же ему все время помогаешь со спокойной совестью, тебя это не смущает. Вот почему я тебе завидую.

Фредо наклонился над столом и положил на него свои короткие руки в слишком длинных рукавах.

— Разница между нами в другом, Оскар. Ты не знаешь, что тебе делать, и вечно колеблешься между ненавистью и долгом. Как человек, ты зол на эсэсовцев, на Фрица, на Эриха, а иной раз, быть может, и на меня. А как врач, ты стараешься быть надпартийным, добрым ко всем, заботливым и самоотверженным работником. Такой двойственности никому не вынести, вот она тебя и раздражает. А мне в самом деле легко: я служу только тому, что, по моему мнению, на пользу нашим людям. Ты им полезен, и в этом я с тобой заодно. У Эриха есть сейчас кое-какие замыслы, которые могут пойти на пользу заключенным, какие-то идеи насчет нового духа в лагере, поэтому я помогаю Эриху. Как только он отступится от них, я перестану ему помогать. Но, надеюсь, это будет нескоро. Ты меня понял?

В лазарет вошел Зденек. Видя, что двое в глубине барака заняты тихим разговором, он сел у дверей и стал ждать. Оскар сказал, глядя в окно:

— Нет, разница между нами все-таки не в этом, Фредо. Ты себя уговорил, что знаешь, что хорошо и что плохо, и этим ты руководишься в своих поступках. А я вот думаю, что никто не может этого безошибочно знать. Я не так тщеславен, но и не так ограничен, как ты. Я признаюсь, что иду на ощупь. Прежде я всегда думал, что, став врачом, легко избавлюсь от всякого [96] правдоискательства: помогай жизни побеждать смерть, вот и все. Но знал бы ты, Фредо, сколько раз я уже помог смерти против жизни. Никогда не прощу себе, например, того, что в Варшаве я спас жизнь Эриху. Эта жаба — воплощенная смерть.

Фредо опять сверкнул зубами.

— Эрих — колбасник по профессии, он воплощенная смерть только для свиней. А ты, доктор, воплощение смерти, например, для слепой кишки. Ни ты, ни он не крашены одной краской. Иногда вы полезны для людей, иногда нет. Я стараюсь помогать вам именно, когда вы полезны.

Зденек заерзал у дверей, он не знал, что ему делать. Не рассердится ли на него грек, если Зденек все еще будет медлить и не обратится к нему?

— Герр арбейтдинст... — несмело начал он.

Фредо улыбнулся ему и вполголоса продолжал разговор с врачом.

— Мне пора идти, так что скажу тебе покороче, зачем я пришел. Эрих сейчас проникся вполне правильной идеей о том, что руководить лагерем должны он и ты. Кстати говоря, он тебе сегодня утром объяснял все это. По-моему, было бы хорошо, чтобы у тебя был свой человек в конторе. Ты, я знаю, норовишь быть ко

всем справедливым и сам никогда не мог бы решить, кого посадить на такое выгодное местечко. Поэтому я позволил себе решить этот вопрос за тебя, а Эрих одобрил мой выбор. Что ты скажешь вон о том мусульманине? Он еще ничего не знает. Если он тебе не нравится, мы выберем другого.

Оскар хмуро взглянул в сторону двери, но, узнав в полумраке робкую физиономию Зденека, нехотя улыбнулся и приветливо кивнул ему.

— На такие дела ты меня не уговаривай, — сказал он. — Какой такой свой человек мне нужен в конторе? Соглядатай, что ли? Я не ты, я не провожу никакой политики, мне «свои люди» не нужны. Если Эриху нужен помощник, пусть возьмет его, мне все равно. Хочет этого чеха, пускай берет его, он, по-видимому, порядочный человек и умный. А разве ты сказал ему, что я его выбрал?

— Нет, говорю же тебе, он пока ничего не знает. Я говорил только с Эрихом и предложил ему взять [97] чеха, потому что теперь в лагере большинство чехов и поляков. Согласен?

Оскар опять глядел в окно на ограду и лес.

— Не спрашивай. Я буду рад, если этому человеку будет хорошо, но мне не нужно никакого ставленника. Не вмешивай меня в свою политику. Я врач и не хочу быть никем другим.

— Ладно, — вздохнул Фредо и встал. — Я хотел, чтобы ты первым сказал ему о выдвижении, он был бы тебе навеки благодарен. Ну, как знаешь, пусть ему сообщит об этом Эрих...

Оскар невольно улыбнулся.

— «Хитрый грек!» Так, что ли, тебе льстит писарь? Зови уж сюда своего протеже, я скажу ему пару слов, — и, когда Зденек с шапкой в руке подошел к Фредо, Оскар продолжал: — Тебя хотят сделать проминентом и спрашивают меня, не против ли я этого. Я отвечаю, что мне нет дела. Если ты будешь в конторе вести себя хорошо, то есть помогать товарищам и не станешь хамом, как многие проминенты, я не пожалею, что не возражал против твоей кандидатуры. Понятно? А теперь иди. Ты мне ничем не обязан, ты не мой ставленник, и я не хочу, чтобы ты мне о чем-нибудь доносил. А если ты считаешь, что тебе страшно повезло, то прими мои поздравления, — он ухватил руку Зденека и пожал ее, потом отвернулся и устался в окно.

— Пойдем, — сказал Зденеку Фредо и повел в контору нового помощника писаря, который не понял ровнехонько ничего.

* * *

Эрих сидел за столом. Никто не крикнул Зденеку «шапку долой», но он вошел с обнаженной головой. Днем контора выглядела совсем не так, как прошлой ночью: не было теплого электрического света, не было густого табачного дыма. Косой солнечный луч проникал в окошечко и выхватывал из грязноватого полумрака полосу пыли.

— Герр лагершрейбер, — почтительно сказал Фредо, — я привел заключенного, за которым вы меня посылали.

Писарь даже не поднял глаз.

— Можешь идти. Новенький пусть подождет. [98]

Фредо подбодрил Зденека взглядом и вышел, Зденек ждал. Тщетно старался он преодолеть освенцимское оупение и мыслить точно и ясно. У него был достаточный лагерный опыт, чтобы понять, что значит прыжок из «мусульман» в проминенты, но ему никак не удавалось осмыслить тот факт, что такая чудодейственная метаморфоза произошла именно с ним.

Вон там, напротив, сидит великий писарь, рослый, краснорожий, очкастый, страшно важный с виду. Его густые русые, какие-то ангельские кудри совсем не идут к широкому, налитому кровью лицу. На шее, от подбородка к уху, тянется ужасный шрам, мощную грудь обтягивает чистый белый свитер, поверх которого надета чистая арестантская куртка. Глядя на него, Зденек показался себе особенно жалким и отвратительно грязным.

— Поди сюда, — послышался наконец хриплый голос. — Я выбрал тебя в помощники, но прежде мне нужно видеть твой почерк. В этой конторе нет ни пишущих машинок, ни перьев с чернилами. Все пишется карандашом, а это не так просто. Какие у тебя были в школе отметки по чистописанию?

«Шутит он или нет? — недоумевал Зденек. — Чистописание? Боже, неужто здесь, в лагере, еще можно вспоминать о чистописании?» Ослабевшая память Зденека обратилась к воспоминаниям десяти-двадцатилетней давности, ища в них деталь — школьный табель. Наконец он представил себе этот лист, сложенный в длину и в ширину, представил себе разграфленные рубрики и каллиграфически вписанные в них пятерки и четверки. М-да, по чистописанию он не блистал успехами... а сейчас от этого, быть может, зависит все его будущее. Надо солгать?

— Не помнишь? Или отметки были плохие? — прохрипел писарь и хитро прищурился. — Ну-ка, я сам тебя проэкзаменую. — Он встал, показал на скамейку и брезгливо поглядел на грязную голову «кандидата». — Ты, наверное, учился в университете, а? Но здесь тебе от этого будет мало толку. Возьми-ка карандаш и пиши.

Зденек взял огрызок чернильного карандаша. (Как бы скрыть грязь под огрубевшими ногтями?..) Прижав бумагу рукой к неровной поверхности стола, он втянул голову в плечи, словно опасаясь учительской затрещины. [99]

— Belegschaftshöhe, Abgangsmeldung, Transportliste... — продиктовал писарь и в наполеоновском раздумье прошелся по конторе. — Написал?

Высунув кончик языка, Зденек старался писать как можно красивее.

— Что-то ты очень копаешься! — проворчал писарь и заглянул через его плечо. — Transportliste пишется вместе — такой университетант, как ты, должен бы это знать. А печатными буквами умеешь?

Печатными? Зденеку вспомнился какой-то стильный заглавный шрифт, и он снова написал им слово «TRANSPORTLISTE», на этот раз вместе.

— Вот это недурно! — писарь был доволен. — Если ты наловчишься быстро писать такими буквами, дело пойдет на лад. Будешь все так писать, понял? Я дам тебе бумагу и время поупражняться, но чтобы ты потом все писал этим шрифтом. Разумеется, и опрятность твоей башки должна быть на пятерку. Вымойся как следует, добудь себе одежду почище, как — это мне все равно. Иди сейчас в третий

барак к парикмахеру Янкелю, скажи, что тебя прислал писарь, пусть он тебя побреет. Да попроси у него ножницы и остриги свои когти. Вечером приступишь к работе. Марш!

* * *

На стройке стало еще оживленнее. При свете прожекторов начали строить забор вокруг трех новых бараков. Не было готово только отхожее место: ждали, пока Казимир кончит бетонирование ямы, чтобы потом устанавливать стены. Уже рыли ямки для стоек, Гастон добился в комендатуре, чтобы на несколько часов выключили ток в главной ограде лагеря. Эта ограда была двойная. Бетонные стойки внутренней линии наверху были загнуты внутрь, и по ним шел, от изолятора к изолятору, обнаженный провод с током высокого напряжения. Вторая линия ограды была из колючей проволоки. Между оградами был проход для часовых, по которому они попадали к сторожевым вышкам. Кроме того, в лагере, на подступе к внутренней линии ограды, находилось еще одно проволочное ограждение высотой по колени.

Новый забор вокруг трех бараков и уборной примыкал к основной ограде, у самого электрического [100] провода, а справа от конторы в нем была устроена калитка.

Устройство такого внутреннего лагеря, разумеется, вызвало оживленные толки и споры среди заключенных. Дело ясное, говорили самые опытные, здесь будет штрафное отделение, «дисциплинарка». Или сюда привезут пленных русских. Немцы их боятся больше всех и обращаются с ними хуже, чем с другими. Помните массовый побег русских из Маутхаузена? Помните большой бунт, который они организовали в Бухенвальде?

— Что-то не верится, — качал головой голландец Дерек. — Три барака это слишком мало. В них войдет сто пятьдесят человек, я еще не видывал таких маленьких лагерей для русских.

Но многие с ним не соглашались.

— А помнишь, как в Освенциме их травили ядовитым чаем? Что, если завтра сюда пришлют из Дахау сто пятьдесят русских? Дадут им отравленную еду, и к вечеру все они будут мертвы. Больше ста пятидесяти трупов за сутки и не похоронишь. Назавтра пришлют еще сто пятьдесят, и так изо дня в день.

— Не пугай, не пугай! Зачем бы им делать это здесь? Ведь в Дахау построена новая газовая камера.

— Может быть, они там не отваживаются на крупные истребления? Лагерь переполнен, в нем больше тридцати тысяч человек, если все они взбунтуются, их не удержишь.

— А нас удержишь?

— Нас — да. Нас всего полторы тысячи, и большинство мусульмане, у которых мозги совсем набекрень. Если эсэсовцы вздумают превратить нас в могильщиков для ста пятидесяти русских в день, мы ничего не сможем поделать.

— Не паникуйте! Лагеря истребления здесь не будет. Писарь сто раз уже говорил это.

— А ну вас к черту с вашим писарем! Мало ли что он сказал. Поверьте мне, мы тут

строим душегубки для советских солдат. А когда мы перехороним их всех, нацисты возьмутся за нас...

* * *

Блоковый из двадцать первого барака рыжий Вольфи по дороге в контору остановился поговорить с Фредо. [101]

— Слушай-ка, вранье это или нет, будто нас хотят сделать соучастниками истребления русских людей?

— Чепуха! — усмехнулся Фредо. — Сортирные сплетни! Умному человеку, как ты, не следовало бы распространять их.

Вольфи нахмурил белесые брови и подозрительно подглядел на грека. Ресницы у Вольфи тоже были белесые.

— Сдается мне, что ты заодно с писарем. В своем ты уме? Может быть, ты веришь ему?

— Верю. У нас будет рабочий лагерь в распоряжении фирмы Молль, строительного предприятия в Мюнхене. Такой вещи писарь не выдумает. Тому, кто будет болтать об истреблении русских, дай хорошего пинка под зад.

Вольфи покачал головой.

— Хитрый Эрих верит нацистам, а еще более хитрый Фредо верит Эриху. А всем остальным надо дать пинка. Эрих — уголовник, от него нельзя требовать политического подхода. Но как же ты, старый партийный работник, поддаешься на это?.. Погляди хоть на штаб лагеря, который они сколотили: три немца и один австриец — все уголовники. Кроме них, хлюст Гастон, тоже хорошая штучка, жестокий Дерек, беспартийный добрячок Оскар и, наконец, Фредо, обер-хитрец Фредо, который со всем справится один, удержит бразды правления и отстоит партийную линию. Тьфу!

— Честное слово, Вольфи, — засмеялся Фредо, — ты говоришь так, словно речь идет о городском совете или еще каком-то выборном органе и я отвечаю за кандидатский список. Вместо того чтобы радоваться, что хоть я попал в этот штаб, ты меня же кроешь.

— А почему в штабе нет меня, старейшего политического заключенного и немца?

— спросил Вольфи. — Не говори, что это по воле Копица, он не вмешивается в такие мелочи. Просто это козни Эриха, он знает, что со мной ему было бы не так легко ладить, как с тобой.

— Ты все знаешь наперед, — Фредо слегка поклонился, — зачем же спрашиваешь? Эрих против тебя, Хорст и Фриц тоже. Ты что думаешь: я не предпочел бы видеть в штабе тебя вместо любого из этой троицы?

— А ты предлагал меня?

— И не раз! [102]

— И вот результат: сегодня у меня отбирают двадцать второй барак и отдают его Фрицу, величайшему мерзавцу в лагере.

— Вольфи! — Фредо взял немца за рукав и заглянул ему в глаза, для чего греку пришлось подняться на цыпочки и приблизить свое лицо к веснушчатой

физиономии рыжего верзилы. — Во-первых, не кричи, во-вторых, не ругай меня за то, что произошло не по моей вине и чему я не мог помешать. Не важно в конце концов, кто в штабе, ты или я, важно, что в нем есть хоть один человек, который противостоит уголовникам и пытается вести дела правильно, чтобы от этого штаба была польза. Может быть, ты делал бы это совсем по-другому и лучше меня. Но, видишь ли, они давно заметили, что ты упрям, и не дают тебе ставить им палки в колеса. Меня в штаб провел Эрих, потому что я сумел к нему подладиться, потому что я в какой-то мере ему полезен. Тот факт, что твои соплеменники допустили в штаб иностранца, — это уже крупный успех. Вспомни-ка первый штаб Гиглингга: Копиц составил его целиком из немецких уголовников. Сегодня впервые собрался новый штаб, и в нем представлены другие национальности, да к тому же сплошь политические узники. Ты говоришь, Гастон — хлюст. Это несправедливо. Хлюст или не хлюст, но он наш человек, ему можно доверять. Дерек жесток, это верно, но он такой же честный антифашист, как ты. Оскар не только добрячок, он врач, который будет драться за жизнь каждого заключенного. В голове у него, правда, страшная неразбериха насчет добра, зла, справедливости и еще бог весть чего, но, вот увидишь, он пойдет с нами и даже, может быть, станет совсем нашим человеком. Что собой представляю я, ты знаешь. Нет, от этого пресловутого нового духа на новом этапе войны должен быть какой-то прок: руководство лагеря ищет через греческого коммуниста и еврейского врача хоть какого-нибудь контакта с массой, понял? Оно привлекает к себе представителей французов и голландцев. Сегодня в конторе начал работать второй писарь, чех, один из новичков-мусульман. Ты не можешь отрицать, что все это знаменательные факты. Не будь слишком подозрительным и нетерпеливым. Политических немцев здесь только трое. Писарь думает, что с вами можно не считаться, за вами, мол, нет никакой силы, а за [103] другим нациями стоит приближающийся фронт союзников. Это тоже признак нового этапа войны: контора начинает подумывать о том, что будет, если Адольф сдохнет. Соображаешь?

— А для чего нужна новая ограда внутри лагеря? Если ты такой умный, как же ты этого не знаешь?

— Честное слово, не знаю, Вольфи. Эрих прикидывается, что знает, но он тоже не знает. Надо выждать. Хуже всего было бы устраивать панику из-за этого дурацкого забора. Я знаю одно: у нас рабочий лагерь и с понедельника шестого ноября мы должны послать две с половиной тысячи человек на какую-то стройку фирмы Молль. Сегодня вторник, а в лагере у нас только немногим больше половины нужного количества. К воскресенью нам нужно построить еще двадцать семь барачков и разместить в них пополнение в полторы тысячи человек. А в понедельник, как я уже сказал, мы идем на работу. Вот увидим, что это за работа, да и лагерь к тому времени будет полностью укомплектован, тогда и поговорим о том, что делать дальше. Истреблять людей здесь не будут, и пока что это главное.

— А если все будет так, как ты говоришь, ты согласен работать и помогать нацистам строить укрепления?

— Там будет видно, Вольфи, — усмехнулся Фредо и отпустил рукав товарища. — Сегодня тридцать первое октября тысяча девятьсот сорок четвертого года. Через пару недель наступит зима, а что можно строить зимой? И сколько месяцев еще выдержит весь этот зверинец?

Около десяти вечера поднялся ветер. Куда делось искристое звездное небо прошлой ночи! Со стороны Ландсберга тянулись густые и зловещие черные тучи. Вихрь вырвал из рук людей и повалил фасадную стену последнего барака, Карльхен взревел, ему прищемило левую руку. В самый разгар переполоха погасли прожекторы на вышках и все фонари на ограде.

— Воздушная тревога! — заорал часовой. — Все по баракам!

— Alles auf die Blöcke! <Все по баракам! (нем.)> [104]

Повсюду повторяли эту команду, около кухни тревожно зазвенел рельс. Эрих выбежал из конторы и стал удерживать людей, разбегавшихся со стройки.

— Стойте! Оставайтесь в новых бараках! Не понимаете, что ли, идиоты, что там не опаснее, чем в старых! — Он хрипел от злости и дубасил пробежавших мимо него заключенных. — Оставайтесь на стройке, слышите!

Ему удалось остановить людей, они стали отступать, задерживая тех, кто был сзади, и повторяя слова Эриха. Потом через двери и незастекленные окна они хлынули в новые бараки и устроились на нарах, прикрикивая друг на друга: «Тише!», потому что всем хотелось знать, что делается на дворе. Только Карльхен, придерживая правой рукой левую и спотыкаясь в темноте, шел по проходу между старыми бараками и искал лазарет.

Когда утих шум, стал слышен пронзительный свист ветра и отдаленный рокот многих самолетов. Потом залаяли мюнхенские зенитки и сразу же гулко грохнули бомбы. Но видно ничего не было, густые тучи заволокли небо.

В четырнадцатом бараке Франта высунулся в дверь и нюхал воздух. Не обращая внимания на бомбежку, он наблюдал пасмурное небо и ворчал:

— Будь сейчас декабрь, я бы головой поручился, что завтра выпадет снег.

— Снег! — усмехнулся поляк-блоковый, выпятив губы и шумно выдыхая воздух.

— Закрой-ка лучше дверь и брось каркать. Еще снега нам тут не хватало!

В бараке было тихо и совсем темно. Только что ушла на стройку последняя смена. Лежавший на нарах Феликс пошарил рукой и не обнаружил соседей ни справа, ни слева. «Еще снега нам тут не хватало!» — повторил он про себя слова блокового.

Зденек не возвращался. После ухода по вызову грека-арbeitдинста он забежал обратно в барак только на минутку и взволнованно сказал Феликсу:

— Сегодня вечером я начинаю работать в конторе младшим писарем. Пожелай мне удачи. Как только добуду какую-нибудь жидкую пищу, принесу тебе.

И умчался. Боже, как у него блестели глаза! Сейчас совсем темно и... «Еще снега нам тут не хватало!» [105]

Левая щека Феликса уже не болит, ничто его не беспокоит, тело ослабло, и все ощущения как-то притупились. Феликс спокойно дышит, глаза у него широко-открыты, но он ничего не видит. Только пересохший язык беспокойно шевелится, кончик его медленно движется во рту, описывая овал, все время овал. «Растрескавшийся шрам внутри этого овала — это мой рот, — думает Феликс. — Через него в мое тело проходила еда, втекали вкусные прохладные напитки. Теперь там все пересохло. А над небом, под которым ворочается язык, работает мозг. Для него сейчас не существует моего тела, а только это кругообразное движение

языка... Весь остальной организм в порядке, пищеварительная система меня не беспокоит. В школе нам показывали модели печени и почек, но я даже не знаю точно, где они у меня находятся. И желудок не болит, мой несчастный пустой желудок. Лишь в темной неприступной пещере над сухим ртом что-то еще живет, размышляет и будет жить до тех пор, пока сердце, которого я не ощущаю, не перестанет посылать мозгу кровь и питание.

Кто это, собственно, лежит здесь в темной землянке? Над землей я или под землей? А может быть, правильнее спросить, что тут лежит? Перестанет мой организм функционировать и распадется на составные части, именно здесь, в Гиглинге?

Какое противное, булькающее слово — «Гиглинг»! Каждый звук «г» словно продирается к болезненному месту между гортанью и небом, к этому месту моего тела, где сейчас для меня сосредоточился весь мир. В центре этого участка ватный язык все время описывает овал. Овал, овал, овал...»

* * *

Карльхен был куда более нетерпеливый пациент, чем Феликс. Он честил на чем свет стоит темноту и просил Оскара, хотя бы на ощупь, определить, нет ли перелома. Но едва врач взял его за руку, капо снова взвыл и запросил пощады.

Стали ждать света. Доктор Антонеску засунул руку под рубаху и скреб волосатую грудь. Все тело у него тесалось. Он прикрыл глаза и стал мечтать о белом костюме, белых носках и туфлях, о никелированных [106] кранах и журчащем душе, о ванной с брызгами воды на белых кафельных стенах.

— А работать сейчас дома, в хирургической клинике, тоже стоило бы изрядной трепки нервов, — неожиданно сказал он. — Что бы мы делали, если бы во время серьезной операции вдруг погас свет?

Четверо врачей удивленно подняли головы и дружно рассмеялись. Сами не понимая, почему слова румынского коллеги показались им такими забавными, они хохотали, как расшалившиеся студенты.

— В чем дело? — проворчал Антонеску и в темноте нащупал плечо своего друга.
— Я неудачно выразился по-немецки, что ли?

— Нет, нет, Константин, — успокоил его маленький Рач, — по-немецки это было правильно... — И он опять не смог сдержать смеха.

— Значит, вы спятили, вот что! — рассердился румын. — Потемки во время серьезной хирургической операции — что в этом смешного? — Он встал и, топая, пошел к двери. Рач поспешил за ним.

— Не сердись, Константин. Все это только потому, что ты в этой дыре, где даже нет пола, вспомнил о чистом операционном зале... И вообще, зачем ты создаешь себе ненужные заботы?

Оба вышли из барака. С минуту было тихо. Сидевший у окна Оскар воскликнул:

— Фонари на ограде уже горят. — Тотчас вспыхнул свет и в лазарете.

— Ну, показывай свою лапу, — грубо сказал Оскар капо Карльхену.

Рукав Карльхена был весь в крови, лохмотья прилипли к телу. Он орал, когда их осторожно удаляли. Оказалось, что кости целы, только рука по всей длине была в кровоподтеках и ушибах.

— В другой раз не хватайся за падающий барак, — усмехнулся Оскар. — Жалко, что тебя не стукнуло по голове, у нас одним убийцей было бы меньше.

Раненый морщился от боли и ворчал:

— Заткнись, Оскар, а то...

— Что? Пойдешь к конкуренту? Шими-бачи, иди-ка, прими от меня этого пациента.

Розовощекий венгр отмахнулся.

— А ну его! Так ему и надо. Это ему наказание за то, [107] что сегодня утром он сломал челюсть мусульманину из четырнадцатого барака.

— Я? — в непростительном удивлении Карльхен вытаращил глаза. — Я даже не знаю, как надо бить, чтобы ее сломать. Честное слово, Шими-бачи, это не я, это кто-то другой.

— Молчи уж! — проворчал старый врач.

Оскар усмехнулся.

— Нет, так быстро бог не наказывает. Утром затрещина у клозета, а вечером на обидчика валится весь клозет... К сожалению, это не так. Я тоже подозревал Карльхена, но мне подтвердили, что в это время он еще спал.

Капо повернулся к Шими-бачи и высунул язык.

— А ты мне не поверил! Да разве я когда-нибудь боялся признать, что разрисовал чью-то морду? А тебе я вот что скажу, — обратился он к Оскару, который перевязывал ему руку бумажным бинтом. — Уж если это для тебя так важно, я помогу тебе выяснить, кто это сделал.

* * *

К утру погода стала еще хуже. Три барака, отхожее место и забор были почти готовы, когда около шести утра вдруг началась метель.

— Снег? Быть не может! Ведь еще только первое ноября!

— А чему удивляться? — сказал Мирек, инженер из города Млада Болеслава. — У нас дома снег иной раз бывает и в октябре. Ведь мы здесь вблизи Альп, высота, наверное, метров шестьсот над уровнем моря.

— Вот хорошо, что ты объяснил, доцент. От этого нам сразу стало теплее.

Послышался звон рельса, Мотика орал «Kaffee holen!», кругом повторяли этот возглас, Гастон, зевая, произнес «Café au lait!», а чех Франта из четырнадцатого барака не преминул повторить свое «Kafe, vole!» Штубендисты подняли воротники и побежали в кухню за кофе, остальные «мусульмане» остались лежать на нарах, ошалелыми совиными глазами поглядывая на снег за окном. Обладатели хорошей обуви прижали ее крепче к себе и, кажется, даже улыбнулись. А тот, у кого обувь была худая, погрузился в мрачные мысли. Совсем босые — таких было человек сто двадцать — с неммым ужасом созерцали снегопад.

Новый штубовой, Франта, еще не вернулся из кухни, [108] когда в барак вбежал Зденек, бледный, невыспавшийся, но сияющий. В руках у него была дымящаяся кружка горячего кофе, от которого поднимался пар, в кармане восемь кусков

сахару.

— Откуда ты? Где пропадал всю ночь? — посыпались вопросы, но Зденек, не отвечая, поспешил к Феликсу.

— Горячий кофе и сахар, гляди! — сказал он, подавая товарищу кружку, и бросил в нее все восемь кусочков сахару. — Размешай пальцем и пей.

Феликс приподнялся на локте и попробовал кофе. Он был горячий и сладкий. Феликс пил и глядел при этом на рукав Зденека. На рукаве виднелось что-то маленькое, бесцветное, с ножками.

— У тебя тут вошь, — сказал Феликс, он хотел было поблагодарить Зденека за кофе, но вместо благодарности почему-то с языка сорвались эти слова.

Зденек встревоженно взглянул на рукав.

— Никакая не вошь, это же снежинка! — засмеялся он. — Вон еще сколько их, погляди.

Это и верно были снежинки, одни шестигранные пропорциональные, другие несоразмерные и асимметричные, третьи сложные и ветвистые. В бараке они быстро таяли, и через минуту от них не осталось и следа.

— Снега ты можешь не бояться, — сказал Феликсу Зденек. — Ботинки у тебя хорошие, а на работу тебе все равно не идти, полежишь, пока совсем выздоровеешь...

Феликс выпил кофе, поблагодарил наконец Зденека и заглянул ему в лицо.

— Ну что, как там, в конторе? Ты ел?

Зденек уже торопился обратно.

— Расскажу обо всем, когда будет свободная минутка. Днем, наверное, приду отоспаться, работал всю ночь, еды еще не получал, но это не важно.

К ним подошел блоковый.

— Ну, герр младший писарь, — благосклонно сказал он. — Правду говорит Феликс, что ты от нас переедешь в контору? Бардзо <Очень (польск.)> поздравляю.

Зденек не мог подавить в себе чувство гордости. Ишь ты, герр блоковый уже не покрикивает и не ругается, забыл свое вечное «*verstanden?*», не приказывает петть, весь исполнен добродушия... Погодите, сволочи, все вы [109] поползете передо мной на брюхе, а больше всех тот глухонемой из кухни, что швырнул мне картошку в лицо.

— Да, это верно, — вслух сказал Зденек самым скромным тоном. — Я начал работать в конторе, но жить пока буду здесь, с Феликсом. Надеюсь, вы не против?

— С какой же стати? Наоборот! По крайней мере буду узнавать из первоисточника все новости в конторе. Ты не знаешь случайно, кого поселят в эти новые бараки?

Зденек вспомнил строгий наказ Эриха не болтать о том, что говорят в конторе. Но в данном случае проговориться было не о чем: сам писарь ничего не знал на этот счет. И его новоиспеченный помощник пожал плечами и откровенно ответил, что еще ничего не знает. Блоковый ухмыльнулся и похлопал Зденека по спине.

— Ишь ты, уже наловчился врать, да как убедительно! Мол, ничего не знаю, еще

неизвестно. Вот я тебе задам, певун, если ты и тут, дома, у батюшки блокового, не подашь голоса.

Зденек тоже улыбнулся.

— Хотите верьте, хотите нет. Мне, однако, пора. Пока, Феликс. Довидзенья <До евиданья (польск.)>, пан блоковый, — и, избравшись духу, он тоже похлопал блокового по спине. — Приглядывайте тут за Феликсом, надо его выходить. С вас еще порция похлебки за мое пение, так отдайте ее Феликсу. А если ему станет хуже, сразу сообщите Оскару.

— Ладно, ладно! — запыхтел блоковый. — Ты уже и старшего врача называешь Оскаром... Здорово! Такой быстрой карьеры я еще не видывал в нашем лагере.

Зденек выбежал из барака. В дверях он столкнулся с Франтой, но опытный кельнер ловко увернулся и не пролил ни капли кофе.

— Туалет за углом, — певуче произнес он. — Пожалуйста, не мешайте кельнерам обслуживать... — И в самом бодром настроении поспешил в глубину барака, чтобы наполнить уже приготовленные кружки. — Меню еще только составляется, но я могу по секрету сообщить господам клиентам, что к обеду будет гороховый суп. — Подавая кофе, он ухмыльнулся. — К кофе желаете рогалики или кекс?

Веселое настроение Франты, кружки теплого кофе, которые он раздавал, растопили лед молчания, наступившего [110] в бараке во время визита Зденека. Еще ночью здесь пронесся слух о неожиданном повышении одного из «мусульман», а теперь и самые заядлые скептики убедились в этом собственными глазами: Зденек прибежал с кружкой кофе и полным карманом сахара, он запросто разговаривал с блоковым и даже похлопал его по спине!

Пока Зденек был в бараке, все притихли и глядели на него, как на чудо. Вот он, один из них, вчерашний «мусульманин», все еще в скверных освенцимских лохмотьях и без проминентской повязки на рукаве, но уже чисто выбритый и какой-то быстрый, уверенный в себе... Да, видимо, это правда, он попал в контору. Но как?! Как, объясните, пожалуйста!

Франта раздавал кружки, люди пили кофе и перешептывались. В бараке оказалось несколько терезинцев, кто-то из них вспомнил, что у Зденека был брат-журналист, схваченный гестаповцами в самом начале протектората. Тотчас же разнесся слух, что санитар, который водил вчера Зденека с апельплаца в контору, — это, мол, и есть тот самый брат. «Ничего удивительного, что он стал проминентом», — кивали умные головы.

— Это правда? — спрашивали Феликса. — Ты же должен знать? Помог ему брат?

Феликсу было не до разговоров. Теплый сладкий кофе подкрепил его, ему хотелось напрячь всю волю, сосредоточиться на мыслях о своей челюсти, заставить ее срастись поскорее, выздороветь, жить, жить, жить! Феликс с трудом открывал глаза, неохотно отвечал на задаваемые вопросы, в которых чувствовалась зависть, глупость и даже недоброжелательство.

— Какой такой брат, что вы выдумали! Не знаю, кто ему помог, но от души рад за него. Видите ведь, что оя хороший человек: вон как заботится о товарище.

Хороший человек?

Хефтлинк, рассказавший о брате Зденека, вспомнил и другие подробности. Остальные терезинцы подбавили еще кое-какие слухи, и о Зденеке набралось немало сведений. Во-первых, как его фамилия? Роубик. Думаете, это настоящая? Ничего подобного. Настоящая его фамилия Роубичек. Старик Роубичек, его дед, торговал кожей в Нижних Краловицах. Отец Зденека переехал оттуда в Бенешов, он был общественным деятелем, социал-демократом, участником любительских спектаклей. Его [111] старший сын Иржи — между нами говоря, парень поумнее Зденека — не стеснялся отцовской фамилии. Но этому Иржи не повезло; перед самыми выпускными экзаменами его вытурили из школы за то, что он тайком побывал в Советском Союзе, а потом выступал с рассказами о нем. Парню пришлось очень плохо, у старика отца не было средств его содержать. Наконец Иржи устроился работать в редакции «Творбы». Зденек был на два года младше, он тоже яхшался с Левым фронтом, но больше строил из себя утонченного интеллигента. Школу он кончил с отличием, печатал стишки в газетах, мамаша им нахвалиться не могла. Учился Зденек на юридическом, но скоро бросил университет и поступил на киностудию. К этому времени он уже писался «Роубик» и отошел от политики. Сделал он три-четыре короткометражки, о нем уже начали писать, как о «нашем молодом, подающем надежды», но при Второй республике его, разумеется, выперли из студии. Что он делал потом, не известно, скорее всего был простым рабочим, пока его не сцапали и не отправили в терезинское гетто. Там он организовал театр, проводил беседы. Кстати говоря, и женился на актрисе, она ему тоже помогала. А кроме того, он работал в детских бараках, потихоньку обучал детей, мой сынишка ходил к нему на уроки чешского языка. Летом говорили, что жена у него беременна; она это долго скрывала, чтобы ей не сделали насильно аборт. А потом начались большие выселения и всех нас увезли из Терезина. За несколько дней до родов Ганна Роубик осталась там без мужа, одна. Да только надолго ли осталась, скажите, пожалуйста? Ясно было, что немцы отправят ее в газовую камеру вместе с ребеночком, если он вообще родится.

В Освенцим Зденек ехал как неживой. Все, кто при «селекции» попал «на хорошую сторону», а не в крематорий, прибыли в Гиглинг измученными и отупевшими; Зденек был еще тише и беспомощнее других, и никто этому не удивлялся. Другие тоже расстались с женами и детьми, но у Зденека перед глазами все время стоял образ беременной Ганны — вот она стоит около поезда, заплаканная, с темными пятнами на лице... Это было трудно забыть.

А теперь Зденек стал проминентом. Четырнадцатый барак стоит, как и стоял, в нем лежит больной Феликс и спят утомленные ночной работой люди, на улице тихо [112] падает снег, хлеб в последний раз давали вчера утром, по четверке на человека, потом давали картошку, а сейчас черный суррогатный кофе; днем дадут суп-горох, и только вечером еще хлеба. А Зденек — проминент, писарь, он хлопает нашего блокового по плечу, он принес Феликсу кружку кофе и горсть сахара — вы только подумайте, как ему удалось попасть в контору? Может быть, это к лучшему, может быть, он поможет и всем нам?.. А впрочем, как он может помочь? Нас пятьдесят человек, а он будет рад, если урвет что-нибудь для себя... Зденек! Что он за человек, и каким он станет в конторе? Может быть, мы еще будем его проклинать, — кто знает.

* * *

Снег все падал и падал, к десяти утра он покрыл тонкой пеленой низкие крыши,

торчащие из самой земли. Эриху пришлось тщательно отряхнуться, прежде чем войти к Копицу, в жарко натопленную комендатуру, куда он отправился, лишь когда на стройке было покончено со всеми недоделками. Рапортфюрер не явился туда в девять часов, как обещал. Его все не было и не было, и капо, стоявший на страже, напрасно торчал там, размахивая руками, чтобы согреться: так ему и не довелось заорать «Achtung!»

Тогда в десятом часу писарь сам отправился в комендатуру. Заснеженный лагерь спал, было очень тихо, видимо, все-таки настал наконец день настоящего отдыха. Писарь нес в папке суточную сводку: один заключенный, умерший ночью в бараке, лежит в мертвецкой, наличный состав живых на 1 ноября — 1639 человек.

Это была липовая цифра: на самом деле умерли трое, и писарь знал это. Но уже пора было начать «организацию жратвы»: если с утра показать в сводке 1639 человек, то вечером лагерь получит 1639 порций хлеба; если же показать сейчас всех мертвых, порций будет на две меньше.

Зденек был уже посвящен в кое-какие таинства своей новой работы, ему было поручено принимать рапортчики блоковых о смертях, обеспечивать вывоз трупов из барак, изымать карточки умерших из ящика и составлять суточную сводку. При этом надо было всегда, по указаниям Эриха, утаивать несколько смертей: сегодня, например, умерли трое, а в сводке будет только один. Двое мертвых [113] пока что останутся в бараке, к вечеру их отнесут в мертвецкую, и только потом Зденек «оформит» их. Вечерние порции на этих двух умерших блоковые обязаны сдать в контору, а завтра утром покойники уже будут включены в сводку и лагерь станет получать на две порции меньше. Но к этому времени писаря «припрячут» новых мертвецов, может, трех, может быть, только одного, и их порции достанутся конторе.

— Арифметика простая, понятно? Чего ты вытаращил на меня глаза, перепугался, что ли? А что в этом особенного? Жрать хочешь, а? Будешь обворовывать живых, как делают сволочи-блоковые? Уж лучше научись обирать мертвых, им все равно. Обворовываешь ты тем самым комендатуру, нацистов, так что будь начеку и держи язык за зубами! Ну, что еще? Ах, вот как: ужасно оставлять мертвеца на целый день в бараке! Подумаешь, кисейная барышня! Ты уже давно в лагере и должен привыкнуть к таким вещам. Мертвого снимут с нар, на земле он никому не мешает. Кроме того, сейчас уже достаточно холодно, а наши покойнички такие тощие, что в них и гнить нечему... Ну, ладно, ладно — нет, вы только взгляните, как он побледнел! — вид у тебя, как у клоуна в цирке — такой же дурацкий...

Шагая по снегу в комендатуру, писарь все еще усмехался. И что за человека грек сосватал мне в контору! Говорят, этот Зденек кинорежиссер, а ведь глуп как пробка. Ну, я из него сделаю исправного писаря!

Копиц был в комендатуре не один. Он сидел, спустив подтяжки, из-под рубашки у него виднелась толстая теплая фуфайка, а на столе стояла початая бутылка шнапса, которую вчера принес писарь. Из всего этого следовало, что гость, неподвижно сидевший за столом, хоть и ниже чином, чем Копиц, но пользуется особым расположением рапортфюрера. Эрих почтительно посмотрел на него сквозь стальные очки и увидел долговязого, очень тощего эсэсовца с нашивками шарфюрера на петлицах. Что-то в его лице обеспокоило Эриха, по-видимому, бледная, пересеченная шрамом левая щека — похоже было, что она переставлена с

другого лица. Но потом Эрих сообразил: все дело в левом глазе, который больше правого; неподвижный, блестящий, явно стеклянный, он глядел с каким-то язвительным выражением. [114]

— Ну, писарь, — сказал рапортфюрер, — хорошо, что ты наконец вспомнил дядюшку Копица. Мне не хотелось вылезать в такой холод, а ты не догадался прийти раньше. Приказ выполнен?

— Jawohl, герр рапортфюрер, — прохрипел писарь как мог более браво и щелкнул каблуками.

— Вольно! — сказал Копиц и громко высморкался. — Не ломайся тут, шарфюрер герр Лейтхольд этого не любит. Еще не к добру напомнишь ему о фронте...

Заплатанная щека гостя передернулась, он поднял дрогнувшую руку и сказал:

— С вашего разрешения, камарад...

— Ну, что еще, что? — засмеялся Копиц. — Не станешь же ты стыдиться, что на поле доблести и славы оставил половину своей кожи и что служба в тылу устраивает тебя куда больше, чем братская могила где-нибудь на Одере?

Лейтхольд смутился еще больше.

— Нет... я не говорю, камарад, это было бы глупо... Но я думал, что при чужом человеке...

Копиц развеселился. Он хлопнул себя по ляжкам и сказал:

— Ты слышишь, писарь? Он еще такой зеленый новичок, что считает тебя человеком?! Представляешь?

Писарь сделал удивленное лицо и покачал головой, потом снова стал навтыжку и прохрипел:

— Заключенный номер пятьдесят три двести одиннадцать явился для рапорта.

— Слышал? — сказал Копиц своему коллеге. — Он — номер. Не человек, а номер. Если я оставлю его стоять здесь вот так, забуду о нем и начну с тобой рассуждать о национал-социализме, о бабах или еще о чем-нибудь, он будет торчать тут день, два, три, неделю, пока не свалится или не сдохнет. Слышит он или не слышит, о чем мы говорим, нам, людям, безразлично. Все равно он это никуда из лагеря не вынесет, потому что живым отсюда не выйдет. Понятно? — Копиц помолчал, отхлебнул из рюмки и продолжал: — Это первое, что ты должен усвоить, Лейтхольд. В лагере живут номера, и только! Стоит тебе увидеть здесь людей, и ты пропал — сам будешь на верном пути в номера. Наш лагерь называется «Гиглинг 3». А ты знаешь, что такое «Гиглинг 7»? Это лагерь в полукилометре отсюда, и там такая же [115] ограда и такая же свинская жизнь, как тут. Только заключенные там не уголовники, не враги Германии, большевики и жида, а бывшие эсэсовцы. Да, да, мой дражайший. Что вытарачил последний глаз, который тебе оставили русаки? Вам там, на фронте, не говорили, что в тылу, близ Дахау, есть лагерь для таких, как вы? Но это так, и я тебя дружески предупреждаю: перестанешь видеть за колючей проволокой номера, сам туда угодишь! Я не читал бы тебе таких отеческих наставлений, если бы ты не попал в особо сложное положение — тебе ведь грозит двойная опасность поскользнуться. Во-первых, ты новичок и о лагерях слышал только всякое шушуканье, так что представления о них у тебя самые неверные и

дикие. А во-вторых, «Гиглинг 3» — не обычный лагерь: наряду с подчиненными такой отвратительной внешности, как писарь Эрих, у тебя будут и другие... — Копиц рассмеялся, обнял Лейтхольда за плечи и продолжал: — Ну, в общем ты понимаешь. Писарю я могу приказать раздеться догола и шагать тут по комнате церемониальным маршем. Взволнует это тебя? Нет. А представь себе, что я прикажу то же самое... — давясь от смеха он склонился к самому уху собеседника, и правая щека Лейтхольда быстро покраснела, левая же, из пришитой кожи, даже не дрогнула и осталась бледной.

Эрих спокойно стоял на месте, стараясь ничем не показать, что его занимает пьяная болтовня Копица. Но в душе, он был обеспокоен. Эрих давно знал рапортфюрера, еще по Варшаве и Буне, но никогда не видывал его в таком настроении. Что-то носилось в воздухе, что-то новое, еще небывалое, и потому явно опасное. Что бы это могло быть? Относилось это только к эсэсовцу Лейтхольду, который сидел тут дурак дураком и стыдился перед заключенным за Копица? Говорил Копиц всерьез — ведь он даже не был сильно пьян, в бутылке еще оставалось порядочно шнапса, — и что он этим хотел сказать? Может быть, Лейтхольд извращенный молодчик, гомосексуалист, и Копиц намекает на это? Нет, по поводу столь пустякового грешка он не тратил бы так много слов. Ведь, например, Шиккеле в Буне был самым настоящим «гомо», Копиц знал об этом, все знали, а разве говорили когда-нибудь? Ни разу! Почему же столько разговоров с Лейтхольдом?

Рапортфюрер прервал размышления Эриха. [116]

— Писарь, — сказал он, — в полдень я приду все проверить, осмотрю новые бараки и забор, каждый завиток проволоки, понял? Держись, если все не будет в полном порядке. Шарфюрер Лейтхольд при этом сможет посмотреть, как у нас раздают обед, а потом примет кухню, потому что он наш новый кюхеншеф.

Писарь поклонился Лейтхольду. Тот в свою очередь сделал что-то вроде поклона. Копиц заметил это, ухмыльнулся и продолжал:

— В кухне все должно блестеть чистотой. — Он повернулся к Лейтхольду: — Сегодня у них похлебка из горохового порошка. Знаешь ты эту гадость?

Новый шеф кухни с готовностью подтвердил:

— Я три года служил при полевой кухне и знаю все блюда.

«С ним надо держать ухо востро, он разбирается в деле», — заметил себе Эрих.

Копиц допил рюмку и продолжал философствовать над ней.

— Три года служить фюреру на кухне и все-таки стать инвалидом! Я-то думал, что в кухне опасность грозит только бычьим глазам, а оказывается, и наш добрый Лейтхольд умудрился там окриветь!

10

Снег все падал и падал, становился гуще и оставался лежать на земле, белая пелена росла; вместе со снегом на лагерь спускалась тишина. Глухая, тупая, всепроникающая мертвая тишина. Вместе с ней подкрадывалась смерть...

Ее первой жертвой стал неизвестный человек, который около одиннадцати часов утра появился откуда-то из леса, медленно подошел к лагерю, миновал часового, уставившегося на него, как на призрак, подошел к лагерным воротам и трижды

постучал в них кулаком.

Задремавший капо, дежуривший у ворот, встрепенулся, заорал «Achtung!», подбежал к проволочному заграждению и вытаращил глаза, так же как часовой по ту сторону ворот.?

У ворот стоял совершенно голый человек. Длинный. костлявый, кожа да кости, с посиневшим грязно-белым лицом, которое резко выделялось на фоне белого снега. [117] Лицо и стриженная голова поросли черной щетиной. Узкая слабая грудь была еще белее лица. На ладонях и ногах запеклась кровь.

— Господи боже! — воскликнул баварец-часовой и перекрестился, хотя, как эсэсовец, давно не принадлежал ни к какой церкви. Он взглянул на землю, чтобы убедиться, что фигура у ворот не призрак, и увидел ясные следы ног на снегу. Следы были кровавые. — Господи боже! — еще раз прошептал часовой.

По лагерю тем временем прокатилось беспокойное «Achtung!» Встревоженный Эрих выскочил из конторы.

— Ну, что там еще? Они ведь говорили, что придут в полдень, а сейчас только...

Капо у ворот молча махал ему рукой: скорей сюда. Эрих побежал, дыхание паром вырывалось у него изо рта, на бегу он снял стальные очки, на которые налипли снежинки, и поспешно протирал стекла. «Что случилось?»

Голый человек у ворот еще раз поднял кулак, очень слабо стукнул в ворота и сказал: «Пустите меня домой!» — потом упал в снег и больше не шевелился.

Писарь взялся за ручку и открыл ворота. Немец-часовой по ту сторону ворот знал, что писарь вправе в любое время дня выйти из лагеря в комендатуру, но сейчас, ошеломленный случившимся, сорвал с плеча автомат и прицелился в Эриха:

— Halt! Zurück! <Стой! Назад! (нем.)>

Писарь злобно стиснул зубы, но повиновался: у часового были такие ошалелые глаза, что он и в самом деле мог выстрелить. Ворота снова закрылись, часовой вынул свисток и пронзительно засвистел. Часовые на вышках встрепенулись, стволы пулеметов склонились в сторону ворот, из комендатуры выбежал еще один часовой, за ним Дейбель.

— Почему тревога? — на бегу кричал он. Одуревший часовой у ворот засвистел снова и только потом стал навывтяжку и отрапортовал обершарфюреру о случившемся. Дейбель не растерялся.

— Удвоить караулы на вышках! Вся охрана — в ружье! — крикнул он другому часовому, а дежурному капо у ворот приказал: — Старшего врача сюда! [118]

Капо повернулся направо кругом и заорал во весь голос:

— Старшего врача сюда!

Дейбель кивнул писарю, тот вышел за ворота и наклонился над голым мертвецом.

— Часовой говорит, что услышал слова: «Пустите меня домой!» — пробормотал Дейбель. — Значит, он из нашего лагеря. Если он ночью удрал через забор, а ты утром в сводке не показал нехватки одного человека, излуплю, как собаку!

Через две минуты прибежал Оскар. Дейбель и писарь тем временем перевернули труп навзничь, ища на нем номер, но тщетно — ни на бедре, ни на предплечье

номера не было.

— Мне надо бы вытянуть из него еще пару слов, — сказал Дейбель врачу. — Но, наверное, уже поздно.

Оскар стал на колени, приложил ухо к груди неизвестного и подтвердил предположение эсэсовца.

— Да, он уже не заговорит. А как он, скажите, пожалуйста, попал к воротам?

— Это и я хотел бы знать, — Дейбель выпрямился и закурил сигарету. — Вы случайно не знаете, кто это?

Оскар и Эрих поглядели на неподвижное лицо мертвеца и покачали головой. Потом врач горстью снега отер кровь со ступней неизвестного и внимательно осмотрел их.

— Явно психически ненормальный, — пробурчал он. — Голый, перелез колючую ограду. Все ноги у него в глубоких порезах.

— Все-таки, значит, через ограду, — прошипел Дейбель. — Когда он успел? Наши часовые — хорошие лодыри, видно, им хочется на фронт. — И он бросил свирепый взгляд на вышки, куда спешно взбиралось подкрепление.

Оскар отер снегом руки мертвеца и грустными глазами посмотрел на его лицо.

— Убежать было, наверное, нетрудно. Для сумасшедшего это всегда легко, а особенно сегодня ночью: ведь ток был выключен, да еще затемнение...

— Ну, конечно! — Дейбель хлопнул красным кабелем по голенищу. — Как это я сразу не вспомнил! Огни были потушены, а часовые не включили ток в ограде, [119] хотя во время тревоги работать все равно было невозможно. Обделались от страха... Ну, я им задам.

Оскар встал.

— Ты вполне уверен, что это наш заключенный? — спросил эсэсовец.

Врач поглядел ему в лицо. Взгляд Оскара сейчас не был грустным, скорее холодным и даже насмешливым. Он словно бы говорил: ты уже ничего не сможешь сделать этому мертвецу, тебе уже не расправиться с ним! Вслух доктор сказал:

— Не знаю, каково физическое состояние гражданского населения Баварии. Но надо полагать, что они еще не так отощали, как мы. Поэтому мертвый, очевидно, из нашего лагеря.

Эрих испуганно замигал, уверенный, что Дейбель немедленно ударит Оскара за такой ответ. Но спокойные слова врача удовлетворили эсэсовца, который думал, о том, что предпринять дальше, и не обратил внимания на иронический тон Оскара.

— Так, так. Значит, наш. А ты, писарь, еще числишь его в списках лагеря. Что скажешь на это?

— Нынешняя ночь была необычная, — забормотал Эрих. — Шли строительные работы, люди чередовались, ни один блоковый не мог с уверенностью сказать, все ли люди в его бараке налицо...

— А утром при раздаче кофе? И куда этот тип дел свою одежду? Ее тоже не нашли, а?

— Это еще труднее выяснить... Он мог сбежать одетым, а потом бросить одежду где-нибудь в лесу.

Дейбель закусил нижнюю губу.

— Ерунда... Однако и с такой возможностью нужно считаться. Часовой! — быстро обернулся он к часовому, который все еще стоял, держа автомат в руке и глядя на то, что происходит у ворот. — Немедля послать Шпильмана с овчаркой по следам этого человека.

Потом Дейбель уставился голубыми глазами на писаря и высказал главную мысль, пришедшую ему в голову сразу же, как только он увидел мертвеца. К чему канительные допросы, осмотр трупа, сыщицкие приемы? Все это для бюрократов из уголовной полиции, у них на это есть время. Мы, эсэсовцы, решаем такие дела просто, напрямик, фронтальной атакой!

— Устроить общий сбор, писарь. Проверочный [120] сбор! — сказал Дейбель, и его бледно-голубые глаза смеялись. — Я тебе покажу этот твой новый дух лагеря, я тебе покажу, что значит просить за моей спиной у рапортфюрера об отмене моих распоряжений! Фриц вчера не получил двадцати пяти ударов, потому что это, мол, перепугает господ заключенных! Порка, мол, неуместна в рабочем лагере! И распоряжение Дейбеля попросту отменяется! Но сейчас другое дело: сейчас налицо побег и злостная халатность писаря, который не сообщил об этом побеге в комендатуру! Тут уж конец сентиментам, тут выступают на сцену старые добрые привычки эсэсовца Дейбеля! Общий сбор, писарь! Все на апельплац, больные, мертвые, повара и писаря, я вас там всех пересчитаю! Сразу будет видно, кого и где не хватает и кому мы там же, на месте, вклеим двадцать пять горячих. Общий сбор, писарь! Иди и объяви об этом, чтобы через пять минут все вы стояли тут передо мной в струнку! Марш!

Кабель щелкнул по голенищу, Эрих прохрипел «Jawohl» и побежал в лагерь. «Тысяча чертей, — бормотал он про себя, — вот я и влип! Мало нам было двух вчерашних неприятностей — стройки и истории с зубами! Мало нам того, что выпал снег! Alles antreten <здесь: «Все на апельплац!» (нем.)>, — твердил он на бегу. — Уже с утра появление этого Лейтхольда не предвещало ничего доброго, но общий сбор — это хуже всего. Дейбель ополчился на меня. Из-за этого проклятого беглеца он может меня прикончить... а ведь у меня еще двое мертвых засекречены в бараках. Не выпутаться мне, ох, не выпутаться!»

Все на апельплац, все на апельплац!

Капо с дубинками в руках побежали по баракам сгонять людей на апельплац. Оскар нагнал писаря и схватил его за рукав.

— Сейчас я за тебя, Эрих. Вижу, что Дейбель жаждет твоей крови. Все-таки ты выступал за лучшее обращение с людьми, потому что он и озлился на тебя. Могу я помочь тебе чем-нибудь?

Писарь не был расположен обмениваться любезностями и хотел было огрызнуться: мол, отстань ты от меня, но вдруг его осенила счастливая мысль.

— Ловлю тебя на слове, Оскар, ты мне нужен. Ни [121] о чем сейчас не спрашивай, беги в тринадцатый барак и в двадцать седьмой, вели унести мертвых, которые там лежат, и, если понадобится, подтвердишь потом, что они

умерли только что, после сбора. Беги!

Оскар сверкнул на него глазами: вот он, Эрих, весь тут, протяни ему палец, он тебе измажет всю руку своими грязными делишками. Но слово есть слово, Оскар молча повернулся и поспешил в тринадцатый барак.

В лагере начался переполох, такой же, как вчера, но на этот раз он казался еще большим, потому что всюду по щиколотку лежал снег, который все еще продолжал валить. У ста двадцати заключенных не было никакой обуви. Сколько было криков и стенаний, сколько побоев и брани, пока всех их не выгнали на стужу! Первое прикосновение босых ног к снегу обжигало, снег палил и щипал ступни, сколько ни подпрыгивали несчастные, сколько ни старались они стоять то на одной, то на другой ноге. Дерек страшно избил одного из них, поляка, поймав его на том, что тот потихоньку разорвал одеяло да полосы, чтобы обмотать им ноги. Голландец накинулся на него:

— С ума ты сошел? Хочешь, чтобы тебя немедля повесили? Эсэсовцы увидят тебя в таком виде, скажут, что ты уничтожил казенное имущество, и пиши пропало. Я уже видывал такие случаи и говорю тебе: лучше пойти босым, чем наверняка висеть...

Подъехал грузовик с хлебом, но его не впускали в ворота. Недоумевающая фрау Вирт склонилась к рулю. Неужто ей опять придется целый час торчать тут, прежде чем разгрузят машину? Черт бы побрал такую работу!

Конвойный Ян вылез из шоферской кабины и, заметив поблизости Дейбеля, щелкавшего кабелем по сапогам, накинулся на Зеппа, который сегодня сидел рядом с фрау Вирт.

— Вылезай, бродяга, не слышишь разве, что объявлен общий сбор и тебе давно пора быть на своем месте?

Преемник Фрица выскользнул, как уж, из кабины и через мгновение был уже в воротах. Фрау Вирт проводила его взглядом. Интересный мужчина, почти такой же, как Фриц... но как тут с ними обращаются, боже мой! Хлопнула дверца, Вирт осталась в кабине одна и могла прочитать записку, которую ей потихоньку сунул Зепп. [122]

«Милая Фрау Вирт, — писал Фриц, — мне временно дали одно важное задание (извините, что я не объясняю какое, это сов. секр.), поэтому пришлось поручить доставку хлеба моему товарищу. Он такой же надежный человек, как я, и тоже немец, так что можете ему вполне доверять. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поскорей встретиться с Вами, надеюсь и в дальнейшем на Вашу благосклонность. Бутерброды можете передать Зеппу, он мне их вручит в целости.

Ваш верный цыган».

Фрау Вирт дочитала записку и прослезилась. Ее цыган! Нахал порядочный, это верно, но ведь у него нет ни матери, ни родного дома. Она собиралась упрекнуть его сегодня за то, что он так обращается с евреями. Сама она во всем этом не разбирается и только понимает, что фюрер страшно ненавидит инородцев. «Ну что ж, ничего не поделаешь, Гитлер — великий человек, пусть принимает против них свои меры, на то у него есть гестапо и эсэс. А зачем нам, простым немцам, впутываться в эти дела? Мужа моего взяли, сыновей послали на фронт, а меня

тотально мобилизовали, напялили на меня вот это грубое обмундирование... не хватит ли всего этого?! А тебя, мой цыганенок, даже загнали в лагерь. Что мы им еще будем...»

Фрау Вирт подняла голову и опять взглянула на дорогу, которую уже не заслонял часовой. Он отошел в сторону и беседовал с Яном. И фрау Вирт увидела, что метрах в двух от ее грузовика, у самых ворот, на снегу лежит что-то темное. Что это? Кровь застыла у нее в жилах, когда она поняла. Это был голый мужчина с бесстыдно раскинутыми ногами. Он недвижно лежал на дороге, голова была повернута набок, черной дырой зиял разинутый рот. Ужас! Фрау Вирт хотела отвести взгляд, но не могла. Она стиснула руками виски, словно желая закрыть глаза, но не закрыла их. Кончиками пальцев она вцепилась в свои завитые русые волосы, так что ее шоферская фуражка еще более лихо съехала на затылок. Фрау Вирт упорно смотрела на труп впереди, на первого нагого мужчину, которого она увидела мертвым, без красок живого тела, без игры мускулов под кожей, без дыхания, без улыбки. Ее собственный муж почудился ей таким, как был когда-то, потом двое ее сыновей, [123] крепкие мальчики с гладкими телами... она так любила мыть и вытирать их, надевать на них чистые ночные рубашки... Потом все это исчезло, и осталось только потемневшее нагое тело на снегу, с раскинутыми ногами, запрокинутой головой и черной дыркой рта, который словно хотел кричать, но не мог.

У фрау Вирт комок подступил к горлу. Фуражка опереточной субретки совсем свалилась с ее головы, волосы свесились на лоб, и голова еще ниже склонилась над рулем. Фрау Вирт горько заплакала, положив руки на руль и опершись на них, ее дородная фигура вздрагивала от рыданий, губы, мокрые от слез, снова и снова повторяли дорогие имена: Вальтер, Билли, Франци... Вальтер, Билли, Франци...

Она плакала всхлипывая и не заметила эсэсовцев, которые прошли мимо ее машины и тоже не обратили на нее внимания. Это были приземистый Копиц в измятых брюках, с трубкой в зубах, и худощавый Дейбель с тупым носиком и крутыми скулами; неизменный кабель торчал у него за голенищем. Последним неуверенно шел Лейтхольд, самый длинный из трех, болезненно худой, одноглазый. Было заметно, что он к тому же прихрамывает, но из всех сил старается шагать прямо и легко.

Пока часовой отпирал ворота, Копиц на минутку задержался у трупя.

— Гляди, гляди, Лейтхольд, привыкай!

Длинный эсэсовец ничего не сказал, только проглотил слюну. На шее у него подпрыгнул кадык, и правая щека стала почти такой же бледной, как мертвая левая.

Три эсэсовца: коротышка, повыше и самый длинный — гуськом вошли в ворота.

— Achtung! — кричал дежурный капо.

На апельплаце распоряжался староста Хорст.

— Шапки долой! — скомандовал он, и все шапки хлопнули о штаны. Белые снежинки падали теперь прямо на стриженные головы заключенных. Копиц повернулся к Дейбелю и тихо сказал:

— Ты хотел сбора, вот тебе сбор. Даю тебе десять минут. Я не хочу, чтобы эти

люди передохли, мы ведь еще не выдавали им теплой одежды. Если в понедельник мне некого будет послать на работу, кто меня выручит?

Голубоглазый Дейбель усмехнулся.

— Десяти минут вполне хватит, не беспокойтесь, [124] начальник. Хуже вот что: не так-то легко будет найти нового писаря.

Копии наморщил лоб и серьезно поглядел на Эриха, который с шапкой в руке и папкой под мышкой рысью спешил им навстречу.

— Все в сборе, писарь?

Эрих вытянулся в струнку.

— Прошу минуточку терпения. Есть трудности, не все заключенные обуты, но вот-вот все будут на своих местах.

— Все? — усмехнулся Дейбель.

Писарь не ответил. Он подал Копицу папку с копией утренней сводки, и было видно, как у него дрожат руки.

— Ты что, уже так одряхлел? Или это от страха? — осведомился Дейбель.

— От холода, осмелюсь доложить, — прохрипел писарь.

Перед ними выстраивались шеренги, Хорст, как оглашенный, бегал туда и сюда, потом закричал:

— Готово! Капо, на свои места!

Опустились палки, которыми капо «помогали» выстраивать шеренги, затихли стоны. Проминенты выстроились отдельно. Писарь отошел от эсэсовцев и поспешно встал в одну из последних шеренг, стараясь затеряться среди других заключенных. Но Дейбель не сводил с него глаз и усмехался.

— Achtung! — приказал Хорст. Стало тихо, как было вчера, нет, еще тише, потому что даже синица не пищала. Не было слышно и шагов Хорста, который рысью побежал к рапортфюреру: снег приглушал все звуки.

— Староста лагеря, заключенный номер шестьдесят восемь два тридцать восемь рапортует: весь наличный состав заключенных выстроен на апельплаце, — гаркнул Хорст, вытянувшись перед Копицем. — Явке подлежит тысяча шестьсот тридцать девять заключенных.

— Становись в строй, — сказал Копиц, и Хорст побежал назад, в задние ряды, где стоял писарь. — Руди, можешь начинать.

Дейбель вытащил из-за голенища кабель, шелкнул им по колену и пошел считать ряды. Копиц молча ждал. За ним стоял Лейтхольд, руки у него сильно зябли, и он не знал, куда их деть. Заключенные выстроились тесными рядами по пяти [125] человек; попавшие в середину радовались — там было теплее. Босые стояли на одной ноге, но снег уже не палил им ступни, жгучая боль сменилась странным чувством пустоты в посиневших ногах. Кое-кто из босых взял с собой дощечку и переминался на ней с ноги на ногу, другие немного спустили штаны и подвернули под ноги нижний конец штанины, но и это не помогало, многим уже казалось, что пальцы ног превратились у них в пять недоваренных картофелин, такие они стали чужие и омертвевшие.

Дейбель пересчитывал пятерки. Пятьдесят, сто. Пятьдесят, сто. После каждой сотни он выпрямлял палец левой руки, а насчитав пятьсот, снова сжимал кулак. Вот он уже насчитал полторы тысячи и, сдвинув фуражку с потного бледного лба, подошел к последним шеренгам. Всего получилось 1636 человек. Дейбель громко выкрикнул эту цифру в сторону Копица. Писарь хорошо слышал это, и сердце у него замерло. Конец. 1636 человек! Остается прибавить двух мертвых, которых он утаил, и третьего, что лежит у ворот.

Но тут из рядов выступил Оскар.

— Как старший врач докладываю о смерти трех заключенных. Трупы перенесены в мертвецкую.

«Осел! — подумал писарь. — Никогда этот доктор не научится мыслить полагерному. Надо было доложить о *двух* мертвых, ведь третий — это вчерашний, он не включен в сегодняшнюю сводку».

Дейбель, видимо, рассудил точно так же и высказал это вслух:

— Идиот! Из сегодняшнего состава в мертвецкой могут быть только двое. Третий лежит у ворот.

Не моргнув глазом, Оскар повторил с той же невозмутимостью:

— Дело обстоит именно так, как я доложил. Всего в мертвецкой четыре трупа. Один из них вчерашний. А труп у ворот — не наш.

Копиц удивленно поднял голову.

— Тысяча шестьсот тридцать шесть выстроено, трое новых в мертвецкой, что ж, пожалуй, все сходится.

Дейбель стиснул зубы и быстро подошел к нему.

— Разве ты не понимаешь, что тут явная ошибка. Пересчитай-ка сам еще раз, а я схожу в мертвецкую, посмотрю, не врет ли эта носатая сволочь. [126]

Копиц засмеялся.

— А что если тип у ворот действительно не наш? Ты так озлился на писаря, что даже не понимаешь, как это было бы удобно для всех нас. Значит, никто от нас не удрал, не надо никаких рапортов, не будет никаких нагоняев свыше.

Взгляд голубых глаз Дейбеля стал упрямым.

— Я хочу только правды. Наверное, я ошибся в счете, проверь.

Пока Копиц, который был в отличном настроении, начал счет заново, а Дейбель ходил в мертвецкую, Лейтхольд оставался один на командном месте и с довольно жалким видом торчал там, как забытое в поле пугало.

Оскар оказался прав: в мертвецкой было четыре трупа... Они лежали там на земляном полу, рты у всех были разинуты, как у голого мертвеца у ворот.

Писаря, притулившегося где-то в задних рядах, охватила жаркая волна радости. Возможно ли: он выиграл! Откуда же взялся этот третий мертвец? Может быть, его забили, когда гнали людей на апельплац? Или он умер еще раньше и какой-нибудь ловкач блоковый утаил его, так же как это делала контора ради лишней порции хлеба. Ну, это мы тотчас выясним. Такие вещи могу позволить себе я, Эрх

Фрош, и больше никто в лагере!

Копиц, считая ряды, прошел мимо писаря и приветливо помахал ему рукой. У Эриха даже очки вспотели от умиления. Так вот оно что, Копиц за меня. Наперекор Дейбелю! Наперекор старому духу эсэс? Новый рабочий лагерь будет! Будет!

Пока в головах Дейбеля, Копица и Эриха шла эта напряженная игра, тысяча шестьсот тридцать пять человек мерзли на апельплаце, размышляя о том, сколько еще таких сборов можно перенести, не свалившись. Стужа стояла жестокая, даже проминентам в сносной обуви было холодно. А «мусульмане», изголодавшиеся, продрогшие, без портянок, в жиденьких куртках, безволосые, выглядели совсем безнадежно. Феликс чувствовал, что весь драгоценный прилив сил, который утром принес ему горячий кофе и восемь кусков сахара, понемногу улетучивается и, видимо, ничто уже не возместит его. Отец юного Берла все тяжелее опирался на плечо сына [127] и едва не валился в снег. А длинноносый кельнер Франта, свесив свой длинный нос, шептал: «Эскимо! Холодный свиной студень!.. Кофе-гляссе со льдом!»

Оскар вернулся на свое место. В шеренге перед ним стоял Фредо.

— Так ты все еще веришь писарю? — спросил его Оскар.

Фредо упрямо кивнул.

— Рабочий лагерь — наше единственное спасение, — прошептал он. — Нам должны выдать пальто и обувь, в таком виде, как сейчас, мы не проработаем и недели.

Оскар не ответил, он остался при своем мнении. Сегодня он помог писарю, потому что поверил ему. Но это была минутная слабость, конец ей! Писарь — коллаборант, да еще глупый коллаборант, который принимает всерьез каждое слово нацистов. Может быть, и существует в верхах какой-то план изменения режима концлагерей, но для этого прежде всего надо сменить тех, кто распоряжается лагерями, пока это такие прожженные жулики, как Копиц и Дейбель, из подобного плана ничего не выйдет. Ждать от эсэсовцев разумного упрздления — это все равно что сделать дикого кабана поводырем слепца на улице. То и дело у нас общие сборы, бестолковщина, а положение в лагере все хуже. Если мы согласимся на то, чтобы лагерем руководил писарь, мы не переживем этой зимы.

Копиц поднял руку.

— Тысяча шестьсот тридцать шесть, — громко объявил он, не скрывая полного удовлетворения. — Шарфюрер Дейбель сосчитал правильно. Писарь!

Эрих выскочил из рядов, шрам у него на шее налился кровью.

— Писарь, — повторил Копиц, лукаво подмигнув, — твоя казнь откладывается на неопределенный срок. Возвращаю тебе папку, сводка правильна. Староста лагеря!

Хорст подскочил к нему.

— Староста, всех по баракам! Полный отдых до завтрашнего дня. К хлебу сегодня выдать дополнительно по порции маргарина. Вечером строго запрещаю выходить из бараков. Только несколько специально назначенных людей послать на приемку нового транспорта. Разойтись!

Комендатура была как перегретый котел, кипение в котором достигло предела.

— Это уже переходит всякие границы, начальник! — возмущался Дейбель, видимо, желая предотвратить грозивший ему нагоняй. — Зачем было сразу же распускать сбор да еще громогласно хвалить этого сволочного писаря? Ты забываешь, что мы обнаружили у него серьезный беспорядок: откуда взялись три новых мертвеца в покойницкой? Почему они не показаны в утренней сводке? Герр писарь, видимо, организует себе порции хлеба, а ты, вместо того чтобы наказать его за обворовывание Германии, угощаешь его маргарином!

Копиц снял френч, расстегнул воротник рубашки, так что опять стала видна его теплая фуфайка, и сказал бодро:

— Камарад Лейтхольд, как тебе понравились твои новые пансионеры? Тощи, а?

Дейбель даже открыл рот, у него захватило дыхание. Неужели мои дела так плохи, что Копиц даже не достаивает меня ответом?

Лейтхольд тоже не знал, что сказать. Он чувствовал, что оба его старшие коллеги готовы вцепиться друг другу в глотку, и ему было очень неловко, что он с места в карьер стал свидетелем их ссоры. В то же время он не понимал, в чем же дело, к чему эти бесконечные подсчеты мертвых, которые, очевидно, важнее живых. С удивлением он следил за препирательством насчет какого-то писаря, который хотя, по словам Копица, и не был человеком, но, видимо, представлял собой важную фигуру в этой непостижимой шахматной игре. К тому же Лейтхольд был первый день в концлагере и еще не успел прийти в себя после виденного. Уже труп у ворот показался ему дурным предзнаменованием при вступлении на новое поприще, но то, что последовало потом, было еще страшнее. «У нас есть босые», — просто сказал писарь, и в самом деле Лейтхольд увидел, как люди босиком стояли на снегу. И все до одного заключенные, даже здоровые парни с дубинками в руках, были плохо одеты для такой мерзкой погоды. А как ужасны лица, как страшны темные глаза узников! Лейтхольд думал, что все люди в лагере выглядят так же, как писарь, которого он еще до переклички видел у Копица. Лейтхольд всегда считал, что враги [129] гитлеризма, сидящие в лагерях, должны были за это время стать кроткими и ручными, как собаки, носящие поноску, умильно глядеть на эсэсовцев и чуть ли не лизать им сапоги. Но он ошибся. Испуганно взглянув на длинные ряды хефтлинков, он подумал, что этот жидо-большевистский сброд стоит здесь перед ним, как черная стена. Худые, озябшие, стоявшие босиком на снегу, они выглядели более жалкими, чем он себе представлял, но на их лицах не видно было ни покорности, ни сознания своего поражения, ни подчинения воле фюрера. В этих глазах горела откровенная ненависть.

Лейтхольду стало не по себе. Что если эта тысяча шестьсот измученных, озлобленных узников набросится на них, тройку эсэсовцев, и в мгновение ока растерзает их на куски? Правда, кругом торчат вышки с пулеметами. Часовые расстреляют эту полторатысячную толпу, как полторы тысячи зайцев. Но что проку от этого будет растерзанной тройке?

Зрители в цирке знают, что львы подвергаются суровой дрессировке, при которой их бьют и укрощают. Знают они и то, что во время представления ассистент дрессировщика стоит настороже, сжимая револьвер в кармане. Но попробуйте-ка,

предложите зрителю войти в клетку льва? Почему же именно ему, повару Бальдур Лейтхольду, тяжело раненному шальной пулей и с трудом сшитому лекарями, почему именно ему довелось очутиться в львиной клетке? И это-то «тихая заводь», «отличное местечко, чтобы отсидеться», и всякое такое, как расписывали ему в Дахау, когда уговаривали досрочно вернуться на действительную службу? «Благодарю покорно, — твердил себе Лейтхольд, — ohne mich! <без меня! (нем.)> Я девяностопроцентный инвалид. Какая же здесь «спокойная тыловая должность»? Это же ежедневные выступления с опасным номером на цирковом манеже! Вот именно, с номером! Тут повсюду номера, так и я тоже стану номером?! Нет, на это у меня не хватит нервов. Это подходящее дело для дейбелей и копицев, для этой зажившей старой гвардии вечных тыловиков, в жизни не видевших фронта. А Бальдур Лейтхольд не того поля ягода, он и в эсэс-то попал как повар, да еще не к главным эсэсовским головорезам, а во фронтовые части — в ваффен-СС». [130]

— Господа, — начал он, — не знаю, как бы поточнее выразиться... От лагеря у меня исключительное впечатление. Я словно бы вижу здесь неуязвимую пятую Зигфрида, которая попирает жило-большевистскую гидру. Войдешь в лагерь — и видишь эту гидру прямо под собой. Прекрасное, достойное призвание — служить в лагере! Но, право, не знаю, может ли такой болезненный человек, как я, принять высокую ответственность, связанную с этим призванием. Фюрер поставил меня сюда, но он явно переоценил мои силы. У меня нет ни здоровья, ни железных нервов, как у вас. Боюсь, что мне придется сегодня же...

— Слушай-ка, не пори чушь, — сухо сказал Копии. — Я знаю, у тебя такая шикарная инвалидность, что тебя и в самом деле отпустят, если ты подашь рапорт. Но зачем тебе его подавать? Дурак ты был бы, если бы подал. Знаешь, какие тут доходы?

Лейтхольд даже рот разинул. Он-то старался, говорил высокие слова, применял «нордическую хитрость», а герр рапортфюрер отвечает ему, как заправский лавочник!

— Я рад, что тебя прикомандировали к нам, — продолжал Копии. — Вот и Дейбель рад тоже, хоть и глядит бирюком. Всех посылают на фронт, людей не хватает, так что ни на кого другого, кроме инвалида, мы и не рассчитывали. Не бойся, мы тебе поможем, а если поведешь себя умно, будем сыты все трое.

Бальдур Лейтхольд совсем растерялся. Перед ним две сильные личности, которые, казалось бы, грызутся между собой, в действительности же тесно связаны давними общими махинациями. И вот они делают шаг к нему — физиономия Дейбеля при этом подозрительно проясняется — и протягивают ему руки. Лейтхольд вновь чувствует себя цирковым зрителем, попавшим в клетку с хищниками. Его стеклянный глаз язвительно и безразлично глядит куда-то в пространство, а здоровый глаз боязливо косится то на Дейбеля, то на Копица. Спасения нет, их когтистые лапы уже тянутся к нему, Копиц даже пихает его в бок.

— Ну, решайся же, старый скелет! Неужто ты не подашь руку, когда двое искушенных ветеранов предлагают тебе *treu deutsch* <верную немецкую (нем.)> компанию? [131]

И кролик сдался удавам. Его потная худая рука исчезла в их ладонях, и в бессильном ужасе он принял их рукопожатия.

* * *

— Так, — сказал Копиц, словно бы переходя к главному номеру программы. — А теперь подходит очередь моего возлюбленного Руди. Шарфюреру Лейтхольду можно не присутствовать при этой головомойке, он может удалиться в свои покои и заняться там своим чемоданом. — Лейтхольд испуганно откланялся. Даже не ответив ему, Копиц продолжал: -Тебе не понравилось, что я, не спросив тебя, дал на апельплаце приказ разойтись и не стал тут же, на месте, выяснять вопрос о трех трупах. Ладно, об этом можно будет поговорить потом. Но прежде изволь выслушать, что я думаю о твоей безмозглой башке, из-за которой у меня уже второй раз за сутки такие неприятности. Я еще не успел отругать тебя как следует за вчерашние зубы, и вот из-за тебя мы уже снова сидим в дерьме. Как ты смел без моего ведома назначить общий сбор? Разве из-за того, что какой-то голый идиот забрел к нашим воротам, надо сразу же поднимать панику?

— Минуточку, минуточку, — нерешительно возразил Дейбель. — У меня есть свидетели того, как носатый Оскар сказал, что этот человек очень худой и на руках и ногах у него царапины от колючей проволоки, так что он наверняка...

— Заключенный! — прервал разъяренный Копиц. — Но откуда ты знал, что он удрал именно из нашего лагеря? Ведь ты послал Шпильмана с овчаркой по следу, а почему же ты не дождался результата? Почему ты не снял телефонную трубку и не справился у соседей, не пропал ли у них кто-нибудь?

— Но послушай, начальник, — рискнул оправдываться удрученный Дейбель. — Когда есть подозрение, что совершен побег, промедление неуместно. Ночью у нас был выключен ток. Что, если бы удрал не один, а десять хефтлинков? Проверка необходима! А если бы я начал названивать соседям и заноситься перед ними, а потомо казалось, что беглец наш, ты сам задал бы мне жару.

Копиц отер платком вспотевшую плешь. [132]

— Заткнись, — проворчал он. — Лучше поди открой окно. Все «если» да «если»... От нас не сбежал ни десяток, ни даже один человек... У соседей ночью тоже была воздушная тревога и затемнение. Звонить им теперь все равно придется, так что о чем говорить. Устраивать общий сбор на апельплаце было ни к чему, и даже недопустимо. В крайнем случае ты мог распорядиться о переключке в бараках.

— А как же ты сам вчера выгнал их на апельплац?

— Во-первых, я рапортфюрер, и не тебе соваться в мои распоряжения. Во-вторых, вчера не было снега. А в-третьих, и я вчера совершил промах. Говорю тебе, дела у нас пойдут все хуже и хуже, если мы немедля не возьмемся за ум. Сегодня среда, первое ноября. До понедельника остается четыре дня. За эти четыре дня мы должны построить двадцать семь бараков, то есть по семи в день. Нелегкая работа, когда на земле снег. Да еще надо молить бога, чтобы большой транспорт не пришел в воскресенье вечером. Вдруг он придет досрочно? Не позаботились мы как следует о теплой одежде и деревянных башмаках для заключенных. Сегодня я дважды звонил в Дахау, они обещают, да только черт их разберет. В понедельник мы должны послать фирме Молль две с половиной тысячи человек. Знаешь, что будет, если мы этого не сделаем?

— Что будет? Если мы их получим, то пошлем к Моллю, будь они даже все до одного голые, как тот псих, что прибежал к воротам. Что у нас тут, санаторий?

Ведь это враги Германии! Разве уже не в силе старые принципы, с которыми нас сюда послали?

— Сколько раз твердить тебе, что у тебя безмозглая башка, Дейбель? Теперь проводится новая политика, а ты, видимо, недостаточно гибок, чтобы перестроиться. Фюрер продолжает сокрушать своих врагов, но он решил отныне делать это с помощью производительного труда. Помнишь, как мы бывало заставляли заключенных перетаскивать тяжелые камни с места на место? Это уже пройденный этап национал-социализма. Теперь мы погоним их на настоящую работу. Вымирать они будут по-прежнему, но Германии это будет выгоднее, понял? Хефтлинк, который подохнет в лагере просто так и которого прежде не выжмут на стройке, как лимон, — это убыток для германской экономики. Знаешь, во что [133] обойдется нам эта твоя сегодняшняя поверка? Ручаюсь, что завтра и послезавтра в мертвецкую отнесут не три-четыре трупа, как обычно, а двенадцать или пятнадцать. В понедельник должна выйти на работу первая партия. А что, если двадцать процентов людей будет лежать в жару? Если мы сегодня выгоним на работу тысячу человек без пальто, сколько мы сможем выгнать завтра или через две недели? Уж не захотелось ли тебе на фронт, Руди?

Резко зазвонил телефон. Руди вздрогнул, словно уже ждал телефонограммы о том, что обершарфюреру Дейбелю предписано собрать вещи и отправляться на Восток. Копиц смерил его презрительным взглядом и снял трубку.

— Хей... тлер! Ах, это ты, Вачке? Как поживаешь? Что-о? — Хмурое лицо Копица прояснилось. — Шпильман с собакой добрались до вас? — Он прикрыл трубку рукой и прошептал, давась от смеха: — Все ясно, Руди! «Гиглинг 7», образцовый комендант штурмфюрер Вачке...

Дейбель вскочил, открыв рот от удивления. Еще минуту назад ему было страшно досадно, что труп у ворот оказался «чужим», но сейчас он прямо-таки подпрыгнул от радости.

— Быть не может! Из «Гиглинга 7»?

Копиц сделал нетерпеливый жест — мол, потише! — и продолжал:

— Вы сами удивлены? Не верится? Сделаете всеобщую поверку?

Рули не выдержал и кинулся на шею разговаривающему Копицу.

— Я напьюсь мертвецки! — шептал он. — Я... не знаю, что я выкину, если это правда! Посадить Вачке в такую галошу!

Копиц с трудом высвободился из медвежьих объятий своего коллеги, продолжая разговаривать с невидимым собеседником серьезно и даже тоном искреннего участия.

— Мне очень жаль, что пришлось задать тебе лишнюю работу, но что нам было делать? Мертвеца мы пока убрали в свою мертвецкую, можете хоть сейчас приехать — забрать его или только осмотреть. Нет, нет, он определенно не наш. Был ли у нас проверочный сбор? Нет, устраивать его я пока что не собираюсь. Мы знаем [134] своих цыплят, и у нас никто не переберется через ограду...

Дрейбель давился от смеха. Он сполз со стула и стал кататься по полу.

— Хватит, начальник! — гоготал он. — Ты раздражишь Вачке, как быка, а я умру

от смеха!

— Итак, договорились, — сказал в заключение Копиц. — Ждем тебя. Шпильмана с собакой захватите?

Он положил трубку, застегнул ворот рубашки и потянулся к френчу. Лицо его вдруг стало серьезным. Дейбель, сидя на полу, уставился на него.

— Ты что?

Копиц молча смерил его взглядом, потом надел френч и тщательно застегнулся. Наконец он сказал:

— А ты хорошо осмотрел этого мертвеца, Руди? Как же ты не заметил у него под мышкой татуировки, которая есть и у тебя, и у меня, и у всех эсэсовцев?

Дейбель опять разинул рот.

— Эсэсовец?! — воскликнул он. — Да ведь он был черномазый, как жид. Мы осмотрели только бедро и предплечье. Кому бы пришло в голову искать под мышкой?..

— А собирать весь лагерь на апельплац — это тебе пришло в голову?

И Копиц вышел из комендатуры, оставив Дейбеля на полу. У ворот он окликнул часового:

— Ты слышал, что сказал тот голый, прежде чем упал на землю? Повтори-ка точно!

Часовой, вспоминая, провел рукой по лбу:

— Что-то вроде «Пустите меня домой!»

— По-немецки?

Часовой, толстый баварец, хихикнул:

— Не-ет, наверняка не по-немецки! По-прусски...

Копиц кивнул: «Is gut». Серьезный и молчаливый, он открыл ворота и вошел в лагерь. Капо закричал «Achtung!», и это слово несколько раз эхом прокатилось по лагерю.

— Вызови тотенкоманду к мертвецкой, — приказал Копиц и в глубокой задумчивости зашагал по утопанному снегу апельплаца. «Ну и персонал у меня, — думал он. — Человека с прусским выговором, сказавшего «Пустите меня домой», приняли за поляка — мусульманина! Никто даже не заглянул ему под мышку, а вот сбор объявили сразу же!.. И за что только господь бог [135] наказал меня такими подчиненными? Почему именно мне, Копицу, приходится все делать самому? Думать за Руди, а теперь еще и за этого калеку Лейтхольда, воплощенную слабохарактерность и бездарность. Думать за тысячу шестьсот тридцать шесть хефтлинков, к которым сегодня ночью прибавится еще партия новичков, да каких! Все это сулит только новые хлопоты и бог знает какие неприятности. А в воскресенье приедет еще тысяча триста человек... Верхней одежды для них нет, снегу навалило по щиколотку, а ведь сегодня только первое ноября!»

Копиц дошел до мертвецкой. Дверь качалась на ветру и скрипела так жалобно, что от этого звука хотелось скулить. Рапортфюрер остановился возле мертвого

коллеги, сумасшедшего эсэсовца, который сегодня ночью сбежал из лагеря «Гиглинг 7».

И в самом деле, он похож на еврея: черный, тощий, обросший, совсем такой же, как четыре других трупа с именами, написанными чернильным карандашом на бедре. Более того, если бы на втором трупе слева не значилось «Леви Бронислав», Копиц именно его принял бы за своего соплеменника. У «Кореца Антонина» волосы тоже были светлее и нос прямее. Только «Граубарт Хаим» и «Фенивес Габор» были такие же темноволосые, как неизвестный пруссак, но не темнее его.

Рапортфюрер бросил взгляд на тыльную сторону собственной волосатой руки — ведь и он сам довольно темноволосый. Если загнать его в лагерь, где он сразу спадет с тела, гонять его босиком по апельплацу, то и он в конце концов, вероятно, спятит, полезет голяком через забор и попадет в мертвецкую, где его примут за какого-нибудь Мойшу Кона.

Копиц выдавил из себя смешок, слабый, невеселый, отошел от трупов и заставил себя снова вернуться к своим заботам: «Все мне приходится делать самому, бог наказал меня коллегами-глупцами, навалил мне на плечи великую ответственность... Как сказал сегодня этот балбес Лейтхольд? «Неуязвимой пятой Зигфрида я попираю жидо-большевистскую гидру»... Надоело мне хуже горькой редьки попираять эту гидру! Но я из-за этого не сойду с ума, не-ет, Копицы не из того теста, меня никогда не упрячут в лагерь, и через ограду я тоже не полезу... Но надо бы уйти отсюда, пока не поздно... Мне ведь есть [136] куда уйти, поеду домой, меня там ждут взрослые дети... Теперь-то я наверняка смогу вести дела в деревенской лавчонке, а ведь прежде я никак не мог с ними справиться, даже крохотная бухгалтерия была мне не по силам. В Гиглинге, хочешь не хочешь, пришлось справляться с куда более сложным хозяйством, адским хозяйством! Да, я уже давно мог бы вести нашу старую торговлю так образцово, что и строгий папаша скажет, чего он никогда не говорил: «Вот так и надо, Алоиз, так и надо».

Но попробуй-ка образцово вести лавку во время войны! Во время войны? Точнее, в конце проигранной войны.. Попробуй поведи торговлю, когда у тебя за плечами столько лет «попирания жидо-большевистской гидры»... Нет, скройся, беги, исчезни, притворись, что ничего не было, ведь под мышкой у тебя татуировка...»

Татуировка! Копиц быстро повернулся к мертвому. На татуировку лучше взглянуть без свидетелей, не надо, чтобы здешние хефтлинки поняли, что мертвый был эсэсовцем, что и среди эсэсовцев есть свои «мусульмане», свои обезумевшие самоубийцы.

Он нагнулся и хотел поднять руку мертвеца, но не смог, она была холодна и тверда, как мрамор. А тут еще в мертвецкую ворвался Диего Перейра и, даже не сняв берета, гаркнул:

— Тотенкоманда прибыла. В чем дело?

— Поди сюда, — сказал Копиц с необычной кротостью, — можешь немного приподнять его руку?

«Этот испанец — глупое животное, — думал он, — даже по-немецки сносно не выучился, наверняка он не знает об эсэсовской татуировке».

Перейра почесал за ухом.

— Приподнять? Мертвец — настоящая ледяшка. Отломить можно. — Он уперся ногой в грудь трупа и хотел было схватить его за руку.

— Нет, нет, — удержал его Копиц, — не смей, что ты за бесчувственный зверь!

— Бесчувственный? — испанец пожал плечами. — Я лучше бесчувственный с мертвыми, чем с живыми.

Копиц сжал кулак и снова разжал его.

— Где у тебя носилки? Почему ты не принес их сразу?

— Носилки в кухне. На них понесут хлеб. Для живых. [137]

— Возьми их оттуда на время, — совсем тихо оказал эсэсовец, — и немедля отнесите этот труп обратно к воротам. За ним приедут.

Он повернулся и быстро вышел.

Туповатое выражение сразу исчезло с лица Диего, на нем отразились смекалка и сосредоточенное размышление. В чем тут дело, почему так странно вел себя Копиц? Испанец быстро нагнулся к трупу и попытался заглянуть под мышку. Ему даже удалось слегка приподнять руку мертвеца, хотя в суставах послышался подозрительный хруст. Потом Диего так же быстро выпрямился и, хитро усмехнувшись, побежал на кухню.

* * *

Фрау Вирт наконец-то смогла тронуть машину. Она все еще была взволнована тайной передачей завтрака Зеппу, но довольна тем, что сделала что-то, направленное против этого гнусного лагеря. Бесстрашно, под самым носом у Яна, она вручила Зеппу бутерброды, словно желая этим показать, как возмущена видом нагого мертвеца. Завтра она опять привезет пакетик с хлебом и колбасой, да, да! И не один, а два — и для Зеппа тоже, пусть и он поест! Будь у нее много купонов и денег, она привезла бы сто пакетиков, даже и для евреев, ей все равно.

Она нажала на акселератор и, исполненная протеста и сочувствия, направила машину к воротам. Около комендатуры она на минуту остановилась, чтобы ссадить старикашку Яна, и даже не ответила на его приветствие. Потом поехала в Мюнхен.

Сразу же вслед за этим у ворот остановилась другая машина — мощный открытый «деймлер» с военным номерным знаком. С заднего сиденья встал лейтенант СС Вачке и огляделся с видом полководца на поле брани.

Дверь комендатуры распахнулась, Копиц и Дейбель, оба причесанные и застегнутые на все пуговицы, вышли встретить дорогого гостя и полностью насладиться триумфом над посрамленной комендатурой лагеря «Гиглинг 7». Но из этого ничего не вышло, у Копица сегодня был явно неудачный день. Ястребиный взгляд прирожденного стратега Вачке проник за колючую проволоку ограды и сразу же отметил, что на всем апельплаце потоптан снег. [138]

— Как хорошо, что вам не пришлось устраивать общего сбора, как у нас, — со сладкой улыбкой обратился он к Копицу. — Я вам завидую, вы так хорошо знаете своих цыплят. Мои питомцы — непостижимые кретины, они ведь сами были когда-то эсэсовцами... Кстати говоря, когда же вы оба наконец заглянете к нам? Я буду рад видеть вас в «Гиглинге 7»... разумеется, в качестве гостей!

«К вечеру придет транспорт», — только и слышно было в лагере. Кто же в нем будет?

Все блоки переполнены, свободны только новые бараки, отделенные оградой от остальных. Стало быть, они для русских?

Фредо допускал такую возможность. Но он твердо верил в идею рабочего лагеря, внушенную ему писарем. Истреблять русских здесь не будут, их просто заставят работать на стройке, как и всех нас. А это совсем неплохо. Почему? Да потому что русские военнопленные — а мы их уже знаем! — не станут строить немцам укрепления или другие военные объекты. Они обязательно организуют сопротивление и наверняка вовлекут в него других узников. «Слушай-ка, — шептал Фредо испанцу Диего, — у нас одних было мало сил. Сколько ты уже ругал меня фашистским прихвостнем и коллаборантом. Но пойми, что мы могли сделать, когда нас тут было только сто пятьдесят человек, и всем лагерем заправляли немецкие уголовники? Мы, греки, держались дружно, вы, испанцы, тоже, у вас есть опыт войны и лагерей. А с французами, голландцами, венграми, поляками было хуже, даже с политическими. Взять хотя бы Оскара. Чех, ярый антифашист, а никакого революционного опыта. Возьми Жожо, Гастона, Дерека. Каждый из них с глазу на глаз будет уверять тебя, что он коммунист. А вот насчет того, чтобы создать дисциплинированную и боевую организацию... Да ты сам знаешь, мы ведь старались. А теперь они стали проминентами и еще больше испортились. Жожо начал спекулировать золотом... Среди полутора тысяч новых мусульман мы наверняка найдем подходящих ребят. Они, правда, сейчас очень измучены, совсем ошалели, но через несколько дней придут в себя. Среди них немало коммунистов — [139] есть и чешские, и польские, это я уже выяснил. Вот, например, тот новый писарь, которого я устроил в контору. Он брат известного журналиста, из него, наверное, выйдет толк. Но пока это дело будущего. А будь здесь советские ребята, да если бы они вместе с нами уже в понедельник вышли на внешние работы — вот было бы здорово! Как бы ни старались их изолировать от нас, мы сумеем договориться! Ведь не всюду нас будет разделять ограда, да и этот забор в лагере не так страшен: ведь через него не пропущен электрический ток, так что в темноте, во время воздушных тревог, можно...»

* * *

К вечеру придет транспорт. А что, если в нем не будет русских? Многих заключенных совсем недавно разлучили с кем-то из близких людей — другом, братом или сыном. Такие люди надеялись, что именно в этом транспорте окажется их друг, брат, сын. А если даже и нет, то он придет через кого-нибудь восточку... Если вновь прибывшие будут из Освенцима, они расскажут нам о судьбе наших жен и детей. А если они будут прямо из дому, мы узнаем, что нового в Праге и на фронте...

Хорошо, если бы они приехали уже сегодня! Жаль, что немцы боятся вести их днем по дороге и приведут только в потемках. Но почему нас после ужина запирают в бараки? Выходит, что мы даже не увидим новичков?

Писарь, задумавшись, сидел над бумагами. Сегодня все прошло удачно — и проверка, и передача кухни этому новому инвалиду. И все же Эрих не мог избавиться от мрачного настроения. Дейбель никогда не простит ему своего поражения, а Дейбель — опасный враг. Сейчас Копиц держит его в узде, но что,

если он со временем отпустит ее?

Днем, когда начальство приходило в кухню, писарь стоял совсем рядом с рапортфюрером и думал: «Что с ним случилось? Как-то осунулся, все время вытирает взмокшую плешь, говорит тихо, как барышня, в глазах нет прежнего ехидства. Болен он, что ли? Собирается уходить из лагеря? Или его уходят? Что за офицеры приезжали к нему в военной машине? Что означал этот визит? Действительно ли это касалось только сбежавшего хефтлинка?» [140]

Но, что бы там ни было, захворай Копиц или отойди он от дел хоть на неделю, худо придется писарю. Распоряжаться лагерем начнет Дейбель, а уж он наведет свои порядки! Тогда — конец всем упованиям на рабочий лагерь, чертов Дейбель задал бы нам жару...

— Герр лагершрейбер, — несмело сказал Зденек, прерывая размышления Эриха, — я приготовил сто пятьдесят чистых карточек для сегодняшнего транспорта. Как повашему, хватит?

— Сто пятьдесят? — сердито прохрипел писарь. — Откуда ты взял эту цифру?

Зденек прикрыл рукой бумаги, словно боясь, что сиплое дыхание Эриха развеет их.

— Я полагал, что их поместят в три новых барака, а там как раз сто пятьдесят мест.

Писарь махнул рукой.

— Умник дерьмовый! Что ты понимаешь! На сколько человек, по-твоему, был рассчитан барак в Освенциме? На триста, четыреста? А вас там вмещалось тысяча!

Зденек наклонил голову.

— Это же был лагерь истребления. Разве вы думаете, что и здесь может...

— Я вообще ничего не думаю, — сердито отрезал писарь. — Еще мне не хватало вести тут с тобой ученые споры! Рабочий лагерь или лагерь истребления, русские, отравленный чай, сто пятьдесят человек или тысяча... Чтобы ты потом ходил по лагерю и шушукался: мол, писарь сказал...

Зденек взглянул ему в глаза.

— К чему такие намеки, герр Эрих? Вы имеете что-нибудь против меня?

— Эх! — писарь вздохнул и встал. — Против тебя, против себя, против всего мира!

— Он подошел к двери и поглядел в окошко, снег валил так же густо, как и утром.

— Я сам ничего не знаю, а хотел бы знать, оттого я такой злой. Не выходит у меня из головы новый транспорт, три новых барака и все те глупости, которые я о них слышал. — «А главное, то, что я слышал в комендатуре, — сказал он самому себе.

— Эти странные намеки Копица, странное смущение Лейтхольда, а сейчас, во время осмотра нового забора, сальности [141] Дейбеля... Возможно ли, что я, Эрих Фрош, самая светлая голова в лагере, не могу догадаться, что же такое готовится?»

Писарь сердито топнул ногой, повернулся к Зденеку и уставился на деревянный ящик картотеки.

— Сто пятьдесят карточек мало. Приготовь по крайней мере триста, мало ли как может обернуться дело. И вот еще что: днем уже было несколько покойников, все из-за этой чертовой поверки, и бог весть сколько еще человек умрет ночью. Не будем больше класть в картотеку и карточки мертвецов, как это мы делали до сих

пор. А то скоро не хватит места для живых. Заведем новую картотеку — мертвых. А старую будем называть картотекой живых, понял? Сходи-ка в немецкий барак и попроси капо Карльхена сделать для нас еще один ящик, точно такой же, как этот. Да не проболтайся, что он будет только для мертвых, а то любители поговорить сб отравленном чае тотчас ухватятся за эту новость...

* * *

Наступил вечер. Стужа не уменьшилась, снегопад не прекращался. Люди в бараках кашляли и стонали больше обычного, растирали свои замерзшие ноги. Сегодня впервые раздача хлеба прошла в полном порядке. На четырех человек выдавали буханочку. Своим или одолженным ножом один из четверки разрезал буханочку на геометрически равные доли. Ох, какая это была тонкая операция! Трое других стояли около и следили за каждым движением ножа. Пока буханочку резали поперек, нож несколько раз останавливался и направление его подвергалось коррективам. Потом один из четверки поворачивался спиной, а другой брал в руку порцию хлеба и спрашивал: «Кому?» Первый говорил наугад, например: «Миреку». — «А эту?» — «Тебе». — «А эту?» — «Мне». Так происходила дележка и заодно незаметно проходило время.

Потом раздвинулась занавеска над койками блоковых, штубаки выбежали с мисками маргарина и мазали каждому на хлеб приготовленную порцию. Одним доставалась порция побольше, другим поменьше, но, разумеется, никто не получал положенных тридцати граммов. [142]

Первой узников обворовывала комендатура, и изрядно. Бальдур Лейтхольд даже поперхнулся, увидев, сколько кубиков маргарина отложил для него повар Мотика. — Это так... всегда делается?. — заикнулся он.

— Конечно, — через плечо ответил тот и даже не улыбнулся, хотя был сегодня особенно щедр к новому шефу. Потом повар преспокойно отложил изрядную долю для себя и глухонемого Фердла, поменьше для конторы, а оставшимся стал оделять бараки.

В бараках воровство продолжалось. Даже самый порядочный из блоковых выкраивал добавочную порцию для себя и штубака. В конце концов, блоковый он или нет? При раздаче кофе и хлеба ничего не выкроишь, похлебку узники получают прямо в кухне, стало быть, поживиться можно только с «дополнительного питания» — сегодня это маргарин, в другой раз сыр, или мармелад, искусственный мед или даже колбаса. Но были и другие блоковые, похуже. Разве вы рискнули бы проверить вес порции маргарина, например, в двадцать втором бараке? Посмели бы вы взвесить порции — даже если бы там нашлись весы, — когда тут же рядом виднелась разбойничья физиономия нового блокового Фрица?

Честные блоковые, такие, как поляк из четырнадцатого барака и его штубак Франта Капустка, обычно удовлетворялись остатками маргарина, которые при резке порций прилипали к ножам. Иногда им удавалось сорвать лишнее с кухни или они выменивали на еду одеяло или еще что-нибудь, утаивали покойника и получали его порцию и применяли десятки других ухищрений, словом, «организовывали жратву».

Сейчас Франта, изящно двигаясь по бараку, разносил маргарин, пародируя обер-

кельнера в шикарном ресторане: заложив правую руку за спину, он на пальцах левой легко нес миску.

— Благоволите приготовить продуктовые купоны! — певуче возглашал он. — В деньгах Германская империя не нуждается, но купонные расчеты должны быть в порядке.

Феликс получил две порции хлеба — одну за отсутствующего Зденека, — но не притронулся к ним. Маргарин он сразу взял в рот, осторожно пососал и, когда маргарин стал жидким, попытался проглотить его. Вкус [143] был противный. Остальные хефтлинки съели свой хлеб в один присест, настроение у всех заметно улучшилось, и никто не спешил лечь спать. Сегодня прибудет новый транспорт, свет в бараках погасят еще не скоро.

— Вот видишь, — усмехнулся сосед Феликса, портной Ярда. — На обед нам дали гороховый суп, а сейчас маргарин, совсем неплохо. Когда я дома представлял себе концлагерь, то всегда думал, что там дают только хлеб и воду... Какой я был дурак, а?

— А почему же дурак? — вмешался кто-то. — Разве нормальный человек может представить себе все ужасы лагеря, не увидев их собственными глазами? Мне тоже казалось, что голодная башня Далибора {10} — это ужаснейшее место на свете. Но когда здесь идешь на апельплац и видишь босых людей на снегу...

— А ну тебя! — сказал третий, инженер Мирек. — Снег, нехватка обуви, сборы на апельплаце — все это, конечно, ужасно, но хуже всего голод. Уж если я выйду из лагеря живым, то буду ценить жратву, как никогда! Прежде я, знаете ли, был одним из тех непростительных идиотов, которые даже не замечают, что они едят... В ресторане, бывало, заказываю первое попавшееся блюдо из меню, к примеру, вареное мясо. Лишь бы поскорей, я, мол, спешу, господин кельнер.

Франта, услышав слово «кельнер», оказался тут как тут:

— Изволите заказать вареное мясо, сударь? А не желаете ли к нему легкий гарнир?

— Пожалуй, да, — усмехнулся Мирек. — Вы тоже, Франта, подавали гарнир на большом блюде с такими углублениями — для цветной капусты, грибов, морковки, зеленого горошка, фаршированного перца, помидор, маринованных слив или вишен...

— Заткнись! — закричал кто-то в комическом отчаянии. — Это же невозможно слушать!

Но Мирек не унимался.

— Вот видите, какие вкусные вещи. А я это блюдо опустошал подряд, без разбору, по ходу часовой стрелки. Вишни после грибов, а капусту после вишен, ну, в общем, [144] ел, как свинья, без толку и без воображения. Если в будущем вы, друзья, когда-нибудь встретите меня в «Золотом гусе» или в ресторане Пискачека, пожалуйста, не мешайте мне, потому что я буду составлять себе обед тщательнее, чем английский лорд. Прежде всего, господин обер-кельнер, бокал белого вина, потом какую-нибудь закуску... у вас там есть салат оливье? Или, еще лучше, холодную спаржу...

Мирек заметил, что Феликс закрыл глаза и тихо улегся на нары.

— Тебе нехорошо, Феликс? — прервал он свою гастрономическую элегию.

— Нет, нет, продолжай.

Но Мирек умолк.

— Я и забыл, — устыдившись, сказал он. — Болтаю тут о всяких деликатесах, а тебе ведь даже этот несчастный кусок хлеба не идет в горло...

* * *

На вышках зажглись прожекторы. Наблюдатели у окошек тотчас объявили об этом. На мгновение смолкли все разговоры, люди в бараках переглядывались: прибыл транспорт!

Но больше ничего не произошло. Не было слышно окриков, в лагере царила полная тишина, и узники полусшепотом продолжали разговоры.

В конторе напряжение не ослабевало. Писарь, обращаясь к группе специально назначенных проминентов, быстро повторял распоряжения. Все должно идти как по маслу. Едва откроются ворота и новички промаршируют на апельплац, туда же выбегут писарь Эрих, староста Хорст, Фредо, Гастон, Карльхен и Дерек. Больше никто. Остальные капо, стоя за бараками и уборными, будут следить, чтобы никто из старых хефтлинков не заговорил с новичками. Названные шестеро проминентов — Копиц не разрешил назначить больше шести человек — построят вновь прибывших в шеренги, запишут их имена на заранее приготовленных листках и сдадут эти списки в контору, где младший писарь Зденек разнесет их по карточкам. Все должно идти быстро, чтобы новичкам не пришлось долго стоять на снегу и они поскорее попали бы на нары. Наблюдать за приемкой будут сам Копиц и [145] Дейбель, ключ от всячего замка на новой калитке находится у Лейтхольда. В нужный момент он отопрет эту калитку, впустит прибывших в три новых барака и опять запрет ее. С сегодняшнего дня устанавливаются круглосуточные дежурства капо, которые обязаны следить, чтобы никто не подходил к забору между старым и новым лагерями. Часовым на вышках приказано окликнуть нарушителя и немедленно стрелять.

Писарь договорил и устался в окошко на апельплац. Снег сверкал и кружился в лучах прожекторов, но на апельплаце не было ни души. Писарь не выдержал, приоткрыл дверь и прислушался. Разинув от недоумения рот, он кивнул другим, чтобы они тоже подошли к двери.

Вдалеке слышалось пение.

Пение? И какое странное! Это не мужские голоса... они слишком высоки для мужских...

Писарь перевел дыхание. Это не русские: он-то знает их песни, их громкие голоса. Главное, что это не русские, и, значит, отпадает версия об отравленном чае...

— Да ведь это дети! — сказал Фредо.

Дети? У писаря опять дрогнуло сердце. Он видел детей в Освенциме, знал, что делают с ними гитлеровцы. О господи, и зачем они посылают детей в лагерь, который должен быть рабочим!

Зденек испуганно глядел на ярко освещенный ночной апельплац. Дети... Они поют! Здесь их ждет колючая проволока и бог весть что, а они поют...

— Чепуха! — сказал капо Карльхен. — В малолетних я как-никак разбираюсь, хе-хе... Это не дети, это женщины.

— Женщины! — воскликнули остальные, и им сразу стало ясно то, над чем они так долго ломали головы. — Ну конечно, женщины!

Писарь хлопнул себя по лбу и тотчас пожалел об этом жесте, не оставившем сомнения в том, что он тоже ничего не знал и только прикидывался осведомленным. Но как тут было сдержаться, когда при слове «женщины» для него сразу обрели смысл все непонятные разговорчики эсэсовцев. Копиц утром сказал: «Если я прикажу писарю раздеться донага и промаршировать тут перед нами, взволнует это тебя, Лейтхольд? Нет. [146] А теперь представь себе, что я дам такой приказ новеньким». — А похабные шуточки Дейбеля насчет дырок в заборе! У писаря словно пелена спала с глаз, он понял все. Женщины попадают в подчинение Лейтхольда, потому что он кюхеншеф, а им придется работать на кухне. Итак, рабочий лагерь будет! Да еще с какими удобствами: мужчины отправятся на работы, а женщины будут дома стряпать для них. Забор, отделяющий женские бараки, не так уж страшен... В сердце проминента Эриха ожили воспоминания о кое-каких запретных авантюрах с женщинами в Освенциме, а ведь Освенцим — это был сущий ад. А здесь... здесь это будет куда легче и приятнее. Мечта о рае, о самом безопасном месте в военной Европе сбывается!

Писарь широко ухмыльнулся и обнял Хорста за шею.

— Женщины... представляешь себе?!

Всех даже бросило в жар. Гастон одернул на себе куртку и провел гребешком по волосам. У Дерека вспыхнули глаза, Фредо просиял, Хорст в душе возблагодарил небеса, что у него сохранились усики.

— А тебе не жаль теперь, — спросил он кала Карльхена, — своих маргариновых капиталовложений в этого мальчишку?

— Ты о Берле? — усмехнулся тот. — Ничуть не жаль. Я не позволю себе увлекаться бабами, в лагере это к добру не ведет. Забор, выстрелы часовых, нет уж, оставьте, я хочу покоя. — И он осторожно погладил свою забинтованную руку.

Зденек недоуменно поглядывал на собеседников, О чем они, собственно, говорят? И он ответил сам себе: это же обычный мужской разговор, который кажется странным только мне, потому что я не мужчина. Что же я такое?

Ночами на бетонном полу Освенцима, да и тут, в Гиглинге, повторяя про себя две строфы, посвященные Ганке, Зденек часто с горечью размышлял о любви. Он любит жену и никогда не перестанет ее любить, но теперь, в эти ночи беды, голода и унижений, он не мог представить себе любовь без разлуки, любовь, которая идет дальше нежной улыбки и прочтенного шепотом стишка. Мечтать о живой женщине, чувствовать ее напряженным телом в своих объятиях, ощущать ее [147] близость, волнуясь, искать ее губы... Нет, все это уже нереально и никогда не станет реальностью!

Сгубили меня, сокрушался Зденек и горестно вздыхал в темноте. Сломали меня, сожгли. Нет гибкости в моем теле, я просто пепел, живая урна собственного праха. Мое зрение, мое обоняние, мое осязание никогда уже не взволнуют мои отупевшие нервы, не заставят мое тело трепетать, напрячься, как лук, не смогут подготовить

меня к встрече с теми, кто на том берегу. Я стар, страшно стар...

А эти люди вокруг меня... подумать только, какие они самцы! Вот они ожесточенно спорят о том, на каком языке звучит эта песня в ночи, звучит все яснее и яснее. Каждому хочется, чтобы это были его соотечественницы. Хорст разочарованно признает, что это не по-немецки, Гастон проворчал: «И не по-французски». Фредо и Дерек тоже покачали головами: не голландки и не гречанки.

— Где у вас уши! — прохрипел Эрих, жаждавший восстановить свою репутацию самого сообразительного хефтлинга. — Я только что уловил словечко «чиллаг», это по-венгерски «звезда». Не помните? «Я, Анна Чиллаг...» — И он сделал жест, словно отбрасывая длинные волнистые волосы.

— Ого, венгерки! — возликовал Хорст; в бытность в армии он однажды провел целый день в Будапеште. — Это, пожалуй, еще получше, чем немки. Паприка! Pörkölt!

Смеющиеся лица мужчин покраснели, а Зденеку стало еще обиднее, что он остался бледен и сердце его не бьется чаще и никогда уже не забьется ради какой-нибудь венгерки или чешки и даже ради Ганки...

— Назад! — приказал писарь, заметив, что ворота лагеря распахнулись, и оттеснил товарищей обратно в контору, а сам занял наблюдательную позицию у оконца.

На апельплаце появилось несколько темных фигур. Они уже не пели, вид лагерной ограды на минуту обескуражил их. Колючая проволока, вышки, прожекторы, черные стволы пулеметов...

Лица мужчин в конторе тоже стали серьезнее. Там, на апельплаце, они, правда, увидели женщин, но это были узницы, жалкие темные фигурки на белом снегу, среди снегопада, озябшие и голодные. Так немного их было [148] там — апельплац казался почти пустым и особенно обширным, — и столько прожекторов освещало и слепило эту кучку женщин. Вот приковыляло еще несколько отставших, медленно подошли двое, неся третью; она сидела у них на руках, держась за их плечи.

«Что ж вы не смеетесь, кобели?» — мысленно твердил Зденек и вызывающе искал темными глазами глаза других мужчин. Но все они хмурились, покашливали и виновато глядели на апельплац.

— Назад! — шепнул писарь и отскочил от двери. По ступенькам спускался Дейбель. Он толкнул ногой дверь.

— Выходи! — заорал он. — Шесть человек — принимать транспорт!

Назначенные проминенты выскочили из барака, обогнули эсэсовца и побежали к черным фигуркам на снегу. Дейбель медленно шел туда же, с левой стороны появились Копиц и Лейтхольд.

Зденек остался в конторе один. С минуту он глядел, как прибывшие строятся в шеренги. Глаза его привыкли к яркому свету, и он начал различать кое-какие подробности. Передний ряд женщин стоял метрах в пятидесяти от конторы, так что нельзя было разобрать, молоды они или стары. Все они кутались в пальто — слава богу, что у них есть пальто, хоть и куцые, — из-под которых виднелись колени и белые икры... Неужели они без чулок? А на головах, что это у них на головах?

Кто-то бежал к конторе. Зденек быстро отошел к столу и стал рыться в ящике, делая вид, что ищет чью-то карточку. По странной случайности ему попалась его собственная. В контору вбежал писарь.

— Вот пересыльная ведомость. Восемьдесят венгеров из Освенцима. Сплошь девушки от пятнадцати до двадцати пяти лет. Спрячь эти бумаги. — И он исчез.

Зденек наклонился над смятыми бумагами и стал читать: Като Ковач, Илона Немет, Магда Фаркас... Потом он снова обнял картотеку, уперев ящик узким концом в грудь, и уставился на листок со своей фамилией. Его испугало, что картотека раскрылась именно на его листке. Не дурная ли это примета? Листок просится наружу... Куда?

Завтра Карльхен сделает еще один ящик, такой же неказистый, как этот. Я уже не человек, а прах человека, [149] но все еще торчу в картотеке живых. Не лучше ли было бы...

— Нет! — сказал он себе вслух и быстрым движением закрыл картотеку.

Девушки пели. Сейчас они молчат, но до этого пели, и долго. Видимо, все можно пережить, видимо, можно остаться в этой картотеке и даже снова стать тем, чем я был когда-то. Никогда больше не хочу видеть свой листок, пусть затаится в картотеке, пусть лежит там среди других и держится, держится, держится! [151]
[153]